НОРА АРГУНОВА

НЕ БОЙСЯ, ЭТО Я!

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге рассказано о том, как люди и животные стараются понять друг друга. О том, как это трудно. И важно.

Если мы научимся уважать их, поймем и полюбим, а они станут нам доверять — только тогда мы сохраним на земле и Лес, и Море, и умного Зверя, который там обитает…

Для младшего школьного возраста.

- Нора Борисовна Аргунова
  -
  - ВСТУПЛЕНИЕ
  - ЗИМОЙ
  - ПРЫГАЙ, МАРГО!
  - СЛУШАЙСЯ СТАРШИХ
  - ЛАТУНЯ
  - КРИК
  - ДРЕВНЯЯ РАКУШКА АММОНИТ
  - ВАНГУР
  -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - ДВОЕ
  - ЖУЛИК
  - ЩЕНЯТА
  - ФИТИЛЬ
  - БЕДА
  - ПЕСЕНКА САВОЯРА
  - ДЕТИ
  - КТО ТЫ?
  - СЫНОК
  - АГАША
  - СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
  - НЕ НУЖНА
  -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - ЗАМОРСКОЕ ЧУДО
  - ГОЛУБОЙ СВИТЕР

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

НАС ТРОЕ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

НЕ БОЙСЯ, ЭТО Я!

- notes
  - 1

Нора Борисовна Аргунова
Не бойся, это я!

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда мне было двенадцать лет, я жила у родных на даче. Каждый день с утра я уходила в лес. Иногда захватывала ружьё — лёгкое духовое ружьецо, которое можно заряжать одной дробинкой. Я ничего не знала об охоте, но воображала себя следопытом, охотником и страстно хотела кого-нибудь убить.

Однажды я сидела в лесу. Это был саженый бор, где сосны стояли рядами, а земля между ними устлана хвоей.

Вдруг я увидела белку. Рядом со мной на объёмистом пне она лущила шишку. Я начала медленно нагибаться к ружью, лежащему на земле. Казалось, белку не испугает моё движение, но она оставила шишку и взбежала на сосну.

Тогда я поднялась, взяла ружьё. Высоко на сосне белка улеглась вдоль ветки, была еле видна — я скорее угадывала в тёмной полоске живое существо, которое, вероятно, наблюдало за мной.

Начинался ветер, деревья мерно раскачивались. Поставив ружьё на плечо, запрокинув голову, я долго целилась, водя мушкой вслед за сосной. Разве можно попасть дробинкой в едва приметную тень, которая плавает над тобой из стороны в сторону в сгустившихся сумерках?

Выстрел… И вот она стала падать. Я смотрела, как, тяжело ударившись о сучок, белка задержалась на секунду, перевалилась, полетела, стукнулась о ветку.

Она медленно падала, а я смотрела, не подозревая, что всю свою жизнь буду видеть это грузное мёртвое падение.

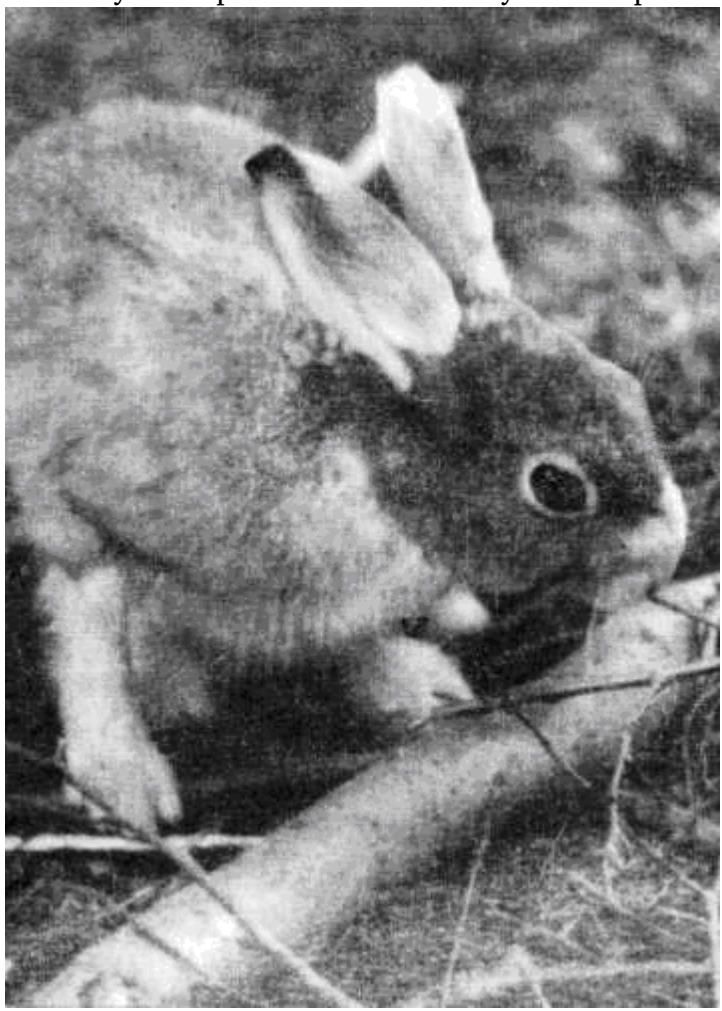
Она свалилась к моим ногам. У неё ещё подрагивали веки. Дробь попала ей точно в сердце.

Я взяла белку поперёк тела, обвисшего, тёплого, и понесла. На опушке, где посветлее, я села, стала её рассматривать. И тут заметила, что из одного маленького соска у неё высочилась капля густого молока…

Много лет прошло с тех пор. Прошлой весной я была в командировке в таёжном краю. Возвращаясь из лесу в посёлок, я присела возле ельника отдохнуть. Ельник ещё стоял в снегу, в спину мне дуло холодом, лицо овевал тёплый ветерок. Промытый снеговой водой, песок на тракте был чист и ярок по-летнему.

Я собиралась встать, но успела сдержаться. Три белых зайца паслись напротив. Два, пощипывая траву, удалялись, а третий начал пересекать дорогу. На коротких передних ногах и длинных задних, ныряя то носом, то кормой, он шёл прямо на меня. Остановился, дожёвывая, у разделявшей нас сухой проталины.

Меня он за живую не принял и спокойно ступил на проталину.



Только когда я шевельнулась, заяц стал смотреть на меня. Сложенные в трубку уши наклонились, развернулись, и казалось, он смотрел и ушами.

Боязливо вытянувшись, подрагивая на задних напряжённых ногах, заяц понюхал мои сапоги. Подобрался. Подумал. И томно потянулся, оттопырив хвост, выгнув спину.

Зажмурясь, он зевнул. Прилёг на живот, встряхнул обеими передними лапами, упрятал их куда-то в себя, в белую пуховую муфту на груди. Нахохленный, без шеи, с заложенными на спину ушами, он превратился в солидного, немолодого. Странно его длинное меховое лицо, азиатские дремлющие глаза по бокам головы.

Он засыпает, и всё у него начинает подёргиваться: дёргаются веки, уши, в нервном движении тело. Сон длится мгновение. Вот

поднимаются уши, раздвигаются веки. Зрачок сужен, глаз безумно выкачен, на лице ужас. Зрачок растёт, ширится, взгляд становится осмысленным, спокойным. Опять тревожный сон — на миг. Пробуждение. Сон. Пробуждение.

Затем я присутствую при играх. Для начала он мотает головой и прядает, словно конь, ушами. Мотнул головой — взвился вверх. Поскрёб землю передними лапами — подпрыгнул. Поскрёб — взвился, поворот в воздухе на триста шестьдесят. На расставленных лапах он крутится по земле волчком, всё быстрее, мелькает, сливается… Прыжок! И убегает прочь, шурша сухим листом. Задние ноги согнуты, он убегает на корточках. У дороги поворачивается ко мне, и — сногсшибательный прыжок! Не прыжок — полёт! Заяц вытянут над землёй в струну.

Стоит, часто дыша, с зажёгшимися очами, с ноздрями расширенными, трепещущими, — конь! Лесной конёк!

Отдышался, начинает пастись. Съедает красный выползок иван-чая. Уходит, сливается с размытой, белёсой землёй.

Будто знал этот дикий, почему-то поверивший мне, что я его не трону. Какая мне выпала удача! Какой подарок! Я видела его, свободного и весёлого, и кто бы знал, как дорого мне его доверие…

ЗИМОЙ

Стояло раннее утро, и в зоопарке, на аллеях, — никого. Клетка, где находился волк, была крайней в ряду. Снег хрустел под моими ногами, но волк не обратил на это внимания. Он дремал. Голова его покоилась на лапе, полузакрытые веки лениво помаргивали, из ноздрей шёл пар.

Он был хорошо одет, как и полагается волку зимой. Топорщился густой воротник, туловище окутывал богатый мех. На спине отросла нарядная попона с чёрной каймой. Волчья морда от широкого лба сужалась к носу сильно и плавно и была так изысканно заострена, что и любой породистый пёс мог бы позавидовать.

Я начала говорить с волком. Если б рядом стояли люди, я бы постеснялась, но были только он и я. Он вызывал во мне восхищение — и я выразила ему это. Он был красив — я объяснила… Он поднял голову. Я продолжала говорить. Волк смотрел так, будто меня не существовало, куда-то вдаль. Но слушал, мне казалось, внимательно. Я присела на корточки, и его взгляд скользнул по моему лицу, чуть задержавшись…

Сбоку тянулся высокий сугроб, я быстро спряталась за сугроб. Выглянула. Волк поднялся на задние лапы, стараясь меня увидеть. Я побежала от сугроба мимо клетки, и он трусил вдоль решётки, пока его не остановила поперечная стена. Я пробежала обратно — и волк тоже. Его пышный хвост был приподнят, физиономия оживлена.

Снова я укрылась за сугроб. Он сделал потрясающий скачок — с места взял вверх, до самого потолка, — разглядел меня и торжествующе взвыл. Пригнувшись к земле, у него на виду, я стала подкрадываться, но он уже всё понял и завертелся вокруг самого себя юлой. Откуда-то выхватил обглоданную кость, швырнул её, взвился, поймал на лету.

Потом я увидела фокус, который не под силу ни одной собаке: волк высоко подпрыгнул, но не передними, а задними лапами вверх. И начал описывать круги — сумасшедшие круги в своей тесной клетке. При этом ни разу он не поскользнулся и не задел за решётку, и точность его движений была также недоступна собаке.

Вдруг волк остановился. Я оглянулась. Сюда направлялись посетители двое в овчинных полушубках и твёрдо скрипящих по снегу сапогах, оба с папиросками.

Подошли. Разглядывали, покуривая. Один сказал:

— Здоровенный.

Другой подтвердил:

— Матёрый… Пуда на два с половиной.

Больше не было произнесено ни слова.

Но я увидела, как у волка медленно опустился хвост и погасли глаза.

С опущенной головой, с угрюмо повисшим хвостом зверь быстро ходил по клетке. И я пошла прочь по застывшим, сизым от мороза аллеям зоопарка…

ПРЫГАЙ, МАРГО!

У моей знакомой случилась неприятность. Её сын уехал в командировку и задержался. Он прислал телеграмму, что командировка затянется.

Сын любил и держал зверей, а мать их не переносила. От них шерсть, от них запах, толку никакого, для чего они человеку? Собака сторожит, кошка ловит мышей, а другие для чего?

Обезьяну Марго недавно привезли из Африки. Кто-то привёз, а держать не смог, подарил другому — и тот не захотел. Третий взял и тоже раздумал. Костя её приютил. У него была своя комнатёнка, он там делал что хотел, мать ни во что не вмешивалась. Она уже вышла на пенсию и жила размеренно, день у неё был расписан. Пожилому человеку нужен воздух, нужен покой, и Таисия Михайловна полёживала, слушала радио или сидела на бульваре и вышивала.

Сын работал в больнице, его никуда не посылали, а теперь понадобилось командировать в Ярославль, он собрался и выехал. Марго он поручил не матери, а одной девочке с их двора. Девочка умела обращаться со зверьми. Но она простудилась, её не выпускали из дому. Таисия Михайловна позвонила мне сильно расстроенная. Она не представляет, как сын ладил с обезьяной. Обезьяну кормят, а она в благодарность норовит укусить. Ночами хулиганит, трясёт решётку своей клетки, стучит, в девяти квартирах слышно. Таисия Михайловна стала плохо спать. Сын скоро вернётся, не возьму ли я пока обезьяну? Ведь я, кажется, люблю животных?

Пришлось согласиться. Но как буду справляться с Марго, я и вообразить себе не могла. Обезьяна существо мне незнакомое, а эта еще, должно быть, озлилась без хозяина, с нелюбящей хозяйкой.

Я думала, её привезут в клетке. Но, открыв дверь, увидела Таисию Михайловну и шофёра такси, который держал закутанный ящик. Вернее, это была тоже клетка, только маленькая, годная для морской свинки или для мышей. Из клетки тянулся ремешок. Прежде чем отпереть дверцу, ремень намотали на оконную ручку.

И вот появилась молодая обезьяна, почти детёныш, на высоких ногах и с лёгким телом, перепоясанным ремешком. Меня и шофёра она оставила без внимания, при виде хозяйки ощерилась, и мех у неё на голове угрожающе надвинулся на брови.

— Тварь такая, — отходя подальше, сказала Таисия Михайловна.

Она выложила из сумки кулёчки — оказалось, это продукты для обезьяны, — достала бутылку молока. И когда ощупывала кулёчки, бормоча: «Кажется, ничего не забыла», её лицо выглядело озабоченным и действительно усталым. Она порылась в сумке, вороша какие-то стариковские мятые тряпки, может быть вышивание, нашла облезлую резиновую куклу, кинула обезьяне, а та пригнулась, будто в неё запустили камнем.

* * *

Я захлопнула входную дверь, возвратилась в комнату. Марго не могла меня достать. Да она и не пыталась. Она прислушивалась к лестнице. Шаги там удалялись. Вероятно, она улавливала их дольше, чем я. Наконец они затихли и для неё.

Обезьяна взбежала на высокую спинку кресла и присела, озираясь. Она слишком долго запрокидывала голову и вертелась, обозревая пустой потолок и стены, и мне почудилось, будто она что-то показывает. Определённо она что-то давала мне понять. Она словно примеривалась, обдумывала какую-то каверзу и хотела, чтоб это заметили. И я заметила и наблюдала за ней с беспокойством.

Она оттянула портьеру, собранную за креслом. Наверное, знала, что там потрескались обои, видела в других домах углы с лопнувшими обоями. Уверенно отодвинула портьеру и оглянулась. Я сидела молча. Она запустила в трещину пальцы и ещё оглянулась. Я не двигалась. Тогда она спрыгнула на пол, таща и срывая обои до самого низа.

— Ты что же делаешь, негодная! — вскрикнула я.

Обезьяна мячиком скакнула на подоконник. Скакнула с живостью, положила подобранную с полу куклу, мимоходом колупнула торчащую шляпку гвоздя. Явно она была довольна, но чем, что происходило в её душе, я не успевала вникнуть — так молниеносно она действовала. Расправила собранную белую занавеску и проверила: слежу? Я, конечно, следила. Она встряхнула занавеску и ещё подождала. Даже узкая спина и наивный затылок ждали — чего? Наверное, вот этого:

— Не смей, Марго! Не смей, тебе говорят!

Она в мгновение ока выдрала из середины хорошей, целой занавески лоскут, повернулась ко мне и стала его рвать, мельчить и белыми хлопьями издевательски, не спеша пускать перед моим носом.

Я разволновалась. Я уже сообразила, что с ней лучше не воевать, а что делать, не знала. И как потерянная, не давая отчёта, зачем так поступаю, я подошла и села в кресло, над которым она царила. Она опешила, шарахнулась было. Но тут же вытянула ко мне руку. Я едва не отдёрнула голову, но удержалась. Только зажмурилась.

И почувствовала, как трогают мои ресницы. Не тянут, не стараются сделать больно — перебирают осторожно. Я удивилась. При такой озлобленности можно ждать чего угодно, только не ласки! Мне захотелось поглядеть на неё. Но, говорят, на обезьян нельзя глядеть в упор — это признак вражды. И я, сощурясь, тайком рассматривала чёрное сухонькое личико с близко сдвинутыми страшноватыми прозрачными глазами. Они уставились на меня в упор. В меня вонзались подстерегающие зрачки.

Я зажала в себе страх. Зверь не терпит недоверия, боишься — значит, не веришь. Глубже, глубже загоняла я страх, опустила на колени руки — они, я и не подозревала, были наготове, — расслабила плечи, откинулась в кресле. Как тяжёлую шубу, я снимала с себя напряжение, с усилием избавлялась от него, и Марго — откуда она узнала, как поняла? — полезла вдруг по мне, уселась на плечо, приладилась, с полной, моментально возникшей доверчивостью оперлась о мою щёку мягким, со светлой шёрсткой животом.

Она выбирала шпильки из причёски, а я слушала, как у неё бурчит в животе. Я покосилась. Она складывала шпильки в сморщенную ладошку. У неё была сосредоточенная мина. Я прыснула со смеху. Она так и подскочила. Схватила свою куклу. Почему, стоило засмеяться, она вспомнила про куклу? Что она понимала в людях, обезьяна, обезьяний детёныш?

Она совала куклу и отнимала, швыряла её и шлёпалась с кресла, и мы тянули, чуть не разорвали куклу, и кукла свистела и пищала последним придушенным писком, а Марго сходила с ума, перекувырнулась в восторге фу-ты! Я прямо взмокла. И она устала. Свесила с подоконника, оттопырила хвост и полила на пол. Как с дерева. Я отправилась за тряпкой.

Вернувшись из кухни, я обнаружила, что ремень на Марго расстёгнут, а она копошится в неглаженом белье, которое свалено в углу тахты. Она поднимала и расправляла каждую вещь, точно

хозяйка, ищущая прорехи. Но её интересовали пуговицы.

Находилась пуговица — и Марго припадала к ней, брала в рот, сосала, и физиономия из умной и деловитой становилась у неё блаженно-младенческой.

Она предостерегающе вскинулась, когда я проходила. Но я не собиралась ей мешать. С чашкой молока я присела на другой конец тахты. Тогда она приблизилась, обхватила ладонями чашку. И пила она по-ребячьи, вздыхая после каждого глотка, останавливаясь, чтобы перевести дух. Напившись, побежала по тахте, волоча хвост, к белью.

Она ещё не добралась до ситцевой клетчатой юбки с застёжкой от пояса до подола. Одиннадцать пуговиц, гладких, как леденцы! Я ждала. Я перестала дышать, замерла.

Марго всплеснула руками. Потрясённая, вскинула над головой волосатые паучьи лапки. Спрыгнула на пол, юбка тянулась за ней. Она запуталась, упала, вскочила и помчалась, ликуя, вздымая юбку. Вскарабкалась на шкаф. Приподнявшись, я наблюдала, как она там прячет, втискивает между шкафом и стеной несчастную юбку.

Марго кончила — я поспешно отвернулась. Она хмыкнула. Я поглядела. Припав грудью, как бегун на старте, к самому краю шкафа, она качнулась вперёд: сейчас прыгну на тебя, ох и прыгну! Я выставила сдвинутые ладони: не боюсь, давай сюда. Но она ещё качнулась и обнажила зубы: и так тебе тоже не страшно?

А может, она улыбалась? Этого пока я не научилась понимать. Но что-то другое — научилась, и мне весело сделалось с ней.

— Давай сюда!

— А укушу?

— Прыгай, прыгай.

Она ринулась. Вся она, с цепкими руками и ногами, с мелкими проворными зубами мчалась мне в лицо, а я стояла незащищённо, опять не отдавая себе отчёта, почему стою так. Знала откуда-то, что так можно. И она пронеслась мимо. Только шлёпнула ладошкой по моей ладони. Приземлилась на тахту. Метнулась, и — наверх, и — снова летит чудище, черномордое, всё в шерсти, ясные глаза блестят, белые зубы оскалены…

Она погостила недолго. Но я часто в жизни вспоминаю её, умную, маленькую обезьянку.

СЛУШАЙСЯ СТАРШИХ

«Чок!» Я открыла глаза. Мои уехали на работу, я на даче одна. Тётя Маша, наша дачная хозяйка, уже погнала, наверное, гусей и козу на пруд. Там на мостках, с которых полощут бельё, вчера долго сидела кошка и смотрела на воду…

Тут я соображаю, что меня разбудили воробьи. Какой крик за окном! Что там стряслось?

Вскакиваю с постели. В берёзу вцепилась белка. Она распласталась вниз головой. У неё толстощёкая, усатая физиономия и вытаращенные глаза. «Чок-чок?» — со страхом вопрошает белка.

Над ней по всем веткам, всё дерево усеяли, со всего Васютина собрались — господи! Сколько воробьёв! Крылья растопырили, приседают, вертятся, вопят. Один ринулся на белку, за ним вся ватага, пикируют и взмывают, мелькают так, что и не разглядишь. Невообразимое что-то творится!

Белка взбегает в ужасе, прыгает на дуб, промахнулась и чуть не упала. Удержалась за прутик, вскарабкалась, прыгнула на сосну, ещё на сосну — и помчалась прочь.

Воробьи смолкли, будто им дирижёр махнул. Я стою у окошка. Смотрят на меня. Молчат. Замечаю, что некоторые куда-то вниз ещё косятся. Влезаю на стул, ложусь на подоконник. И прямо под собой вижу птенца.

На утрамбованной земле сидит птенец. У него мелкие перья на крыльях и короткий хвост. На затылке торчит пух. Втянул голову, не шелохнётся. Я смотрю на него, а стая — на меня. Молчат.

Один воробей прочирикал что-то из ветвей. Гляжу, птенец пошёл и прижался к стене, прямо подо мной. Опять чирикает сверху. Остальные молчат. Что это? Птенец слушает! Он повернул голову, видно, как блестит его внимательный глаз.

Взрослый кончил говорить. Птенец заковылял вдоль стены и завернул за угол.

Я бросилась в сад. Воробьи улетели. За углом так же утрамбована земля, единственный пучок одуванчиков выбивается из-под стены. И в эти одуванчики влез и затаился птенец.

Он сидит в траве, а я — над ним. Неужели воробьи настолько умные? Что же, ему так и сказали про одуванчики? А он понял и послушался? Но ведь это обыкновенные воробьи, просто воробьи, ну воробьи — и больше ничего!

Я поднимаю голову. Надо мной нервно перепархивают две птицы. Родители, что ли?

И я ухожу. Странно всё-таки…

ЛАТУНЯ

В Тишковском лесничестве было шесть взрослых лошадей и один жеребёнок. Он был кургузый, большеголовый, с мохнатыми бабками и узловатыми коленями на коротких сильных ногах — уже и сейчас угадывалось, что из этого жеребёнка вырастет хорошая рабочая лошадь.

Имя его было Латунь. Но за лёгкий нрав его звали ласково — Латуня. Латуня всех любил, всем доверял, охотно брал из рук хлеб и сахар; и сахар уже научился не мусолить, не ронять изо рта, а ловко прилаживал кусочек между зубами и звучно схрупывал в одну секунду.

В пяти километрах от лесничества находилась деревня Ржавки. Почти каждый день оттуда на станцию и потом обратно проезжала через лесничество телега, за которой бежал тамошний деревенский жеребёнок Гамлет, такой же встрёпанный, как и Латуня, только не рыжий, а серый.

Когда телега появлялась, Латуня, кивая большой доброй головой, двигался навстречу, сходился с деревенским жеребёнком, шёл с ним рядом, нюхал ему шею или скулу и отщипывал травинку в том именно месте, где её брал Гамлет. И часто Латуня уходил за телегой в Ржавки, и конюх Павел Васильевич разрешал ему это и не беспокоился о нём.

И в ту ночь, когда с Латуней приключилась необыкновенная, удивительная история, Павел Васильевич не тревожился, считая, что жеребёнок ночует в колхозной конюшне.

Дело шло к вечеру. На лужке, вокруг которого расположились избы лесничества, важно расхаживали гуси; возле будки, гремя цепью, Шарик шлифовал старую кость, а у колодца теснились лошади.

Павел Васильевич был тут же. Он макал кисточку для бритья в консервную банку, налитую до краёв дёгтем, и, держа Каракушу, Латунину мать, за уздечку, мазал ей морду, стараясь не попасть в глаза. Каракуша стояла и терпела, зная по опыту, что дёготь защитит её от слепней.

На лугу было ещё светло. Красное закатное небо дробилось в колоде с водой, из которой пили лошади, но лес за избами насупился и шумел по-вечернему. Латуня уже напился и ждал, чтобы взрослые закончили дневную суету, вошли в конюшню и разобрались по стойлам спать.

И в этот самый момент, когда каждый был увлечён своим делом, из лесу выступили две фигуры и остановились у самой опушки, разглядывая лужайку. Их заметил только ничем не

занятый жеребёнок. Фигуры — одна большая, другая маленькая — напомнили деревенских знакомых, и Латуня направился к ним.

Но оказалось, что это не деревенские. Это были вообще не лошади, а какие-то другие существа, с другим запахом, с другой внешностью и — что Латуня почувствовал сразу, ещё не подойдя, — другой, не лошадиной, повадки. Деревенская лошадь и её жеребёнок обычно равнодушно, спокойно выходили из лесу на луг, а эти стояли замерев, насторожившись, и, когда Латуня приблизился, большой зверь угрожающе топнул копытом. Но маленький смотрел с любопытством, он был такого же возраста, как и Латуня, он был товарищем, и Латуня приветливо ткнул его носом в шею. Большой повернулся, бесшумно ступая по выбитой между корнями дороге, пошёл в лес, маленький поспешил следом, и Латуня потянулся за ними.

Никто не заметил, как они исчезли. Только Каракуша беспокойно затопталась на месте, дёрнула уздечку, но Павел Васильевич прикрикнул на неё…

С дороги свернули в чащу. Лосиха, раздвигая кусты, шла впереди, беспокойно оглядываясь. Она знала и не боялась лошадей, понимала и то, что Латуня ещё маленький, но зачем он идёт за ними, этого она понять не могла. Что, если он обидит её телёнка? Она отлично видела, как низко стоящий на ногах Латуня, толстый и неуклюжий по сравнению с её длинноногим, поджарым телёнком, с трудом продирается сквозь кустарник, и всё ускоряла ход, надеясь, что он отстанет.

Но Латуня не отставал. Он царапал грудь о ветки, обивал на кочках копыта и мчался из последних сил, стараясь не потерять из виду мелькавший перед ним светлый задок своего нового знакомого.

Стемнело, когда пришли на место. Огромная, пустынная, вся в поваленных, с причудливо торчащими корнями деревьях, легла перед ними в смутном ночном освещении дикая поляна. Узкое, с топкими берегами озерцо перекатывало звёзды на ленивой чёрной воде. Лосиха, увязая в глине, шагнула в воду и остановилась на середине, так что была видна только её длинная, с поблёскивающими глазами голова. И лосёнок вошёл в воду и оглянулся на Латуню. Латуня, разъезжаясь на глине и чавкая копытами, двинулся следом и, разгорячённый, измученный, с наслаждением окунулся… Лосёнок попил, и Латуня попил. Потом все поплыли вдоль озера.

Латуня ещё ни разу не плавал, но ему не было страшно. Он, как и всегда, был уверен, что с ним не может случиться ничего плохого, и, хотя приходилось судорожно работать ногами и высоко задирать голову, чтобы не нахлебаться, он весело косился

на лосёнка и старался плыть так, чтобы касаться его боком. Тот берег был уже недалеко, но лосиха внезапно повернула обратно и проплыла мимо. При этом, когда она оказалась возле Латуни, она фыркнула, и ему дождём окатило всю морду. И Латуне захотелось так ловко фыркнуть. Он опустил голову, но вода хлынула ему в ноздри, в глазах помутилось, и, почувствовав под ногами землю, он с шумом вырвался на берег.

Оглянувшись, он увидел, как уплывают те двое. Тогда он потрусил за ними по берегу. Телёнок вылез, отряхнулся, и Латуня успокоенно положил голову на его мокрую, тёплую спину. А лосиха долго ещё стояла в воде, и звёзды колыхались возле её головы…

Вернулись в лес. Тут, в глухом осиннике, под раскидистым, окружённым кустами деревом, было лежбище — примятая трава и белевшие во тьме обглоданные стволы молодых осин. Лосёнок, сгибая пополам тонкие ножки, лёг, лосиха встала над ним. Латуня повалился тут же, придавив ей копыто, и она нервно переступила всеми четырьмя ногами.

Лосёнок вытянул шею, отщипнул коры, дёрнув, оторвал узкую полоску и стал жевать. И Латуня, оттопырив губы, поскрёб ствол передними зубами. Вот новость! Во рту появился чудесный вкус — куда острее, чем от редиски, которую Латуня повадился таскать в лесничестве на огороде. Теперь он зорко следил за лосёнком: что ещё тот будет есть. Лосёнок сорвал с корня мох, и Латуня сорвал мох. Лосёнок съел мох, а Латуня пожевал, пососал,

выкинул, взял ещё и снова стал сосать.

Наконец легла и лосиха. Она заснула, но дышала тихо, часто сдерживала дыхание, прислушиваясь, и уши у неё поворачивались, отзываясь на каждый шорох. А лосёнок спал беспечно, вздрагивая во сне и перебирая ногами. Наверное, ему мерещилось, что он бежит или плывёт, а один раз привиделось, будто он прыгает через пень, и он весь дёрнулся и посмотрел на Латуню сонными детскими глазами.

Латуня не мог заснуть. Его ещё не пускали в ночное, и он впервые в жизни ночевал на воле. Всё ему было тут внове: и звуки, и запахи, и движение таинственного ночного леса.

Крупная птица, распластав крылья, бесшумно скользнула между чёрными стволами, и глаза у неё вспыхнули, как у кошки, жившей в лесничестве. Незнакомый зверёк подошёл, вытянул гибкую, как у гуся, шею, посмотрел Латуне в лицо и, скользнув пушистым хвостом по Латуниной ноге, исчез. Потом на земле появилась зелёная искра, она мигала, переливалась, и Латуня с удивлением заметил, что она живая и что она ползёт. Он ткнулся понюхать её — она погасла…

Влажный туман с холодным, терпким, совсем не похожим на дневной, запахом трав, от которого так глубоко дышалось, и особенно странный звериный дух, исходивший от лосей, волновали Латуню до головокружения, и неясные образы и мечты наполнили его душу. То видел он жеребца Митьку, которого в первый раз впрягли в телегу, и жеребец рассердился, завизжал, встал на дыбы, понёс и в щепки расшиб телегу. Латуня не мог понять, что поразило его тогда в Митьке, но он вспомнил об этом, и даже шкура у него на спине содрогнулась от восхищения.

То представился ему Павел Васильевич, принимавший граблями сено на верху стога, забравшийся высоко, под самое небо, — и Латуня воображал, что не Павел Васильевич, а он сам гордо стоит на этой безумной высоте, а гуси, никогда не обращавшие на него внимания, и Шарик, и даже сам жеребец Митька смотрят на него снизу со страхом и уважением.

Или видел он плывущее в страшной небесной дали облако — только недавно, дня три назад, Латуня заметил, что в небе двигаются облака, — и ему мерещилось уже чёрт знает что: будто он и есть это облако с ослепительно белой шкурой и с белой гривой и что он скачет по голубому лугу и ест голубую траву…

Всю ночь у Латуни жадно трепетали ноздри, ходуном ходили бока, и в бедной его голове творилось такое, что не выразишь никакими словами. И только когда жёсткие листья осин начали биться от предутреннего ветерка и туман двинулся и пополз, цепляясь за кусты, и потянулся к вершинам деревьев, Латуня

забылся сном. А открыв глаза, увидел, что лоси исчезли.

Латуня вскочил и закричал на весь лес. Никто не отзывался. Он прислушался. Шелестели деревья и кусты. Латуня понюхал землю. Звериным теплом ударило ему в ноздри, и он опять высоко вскинул голову и позвал. Потом печально побрёл, сам не зная куда…

Он вернулся домой через два дня. Все уже знали, что его не было в Ржавках. Павел Васильевич обрадовался, увидев, как Латуня выходит из лесу. Он пошёл к Латуне с протянутой рукой, но жеребёнок вдруг шарахнулся, и Павел Васильевич с удивлением заметил, что на спине у него волосы встали дыбом. И выглядел Латуня необычно — бока у него запали, грива встрёпана и вся в репьях, взгляд беспокойный… Он припал к колоде с водой и пил, пил, не отрываясь.

До вечера он не подпускал к себе Павла Васильевича, всё отбегал к опушке, туда, где начинается пробитая среди корней дорога, и, глядя в лес, кого-то звал.

Только Каракуша сумела заманить его в конюшню. Но и здесь, когда стемнело, он стал волноваться, то и дело подходил к дверям и через щели в досках шумно втягивал ночной воздух.

На другой день Латуня опомнился. Опять он давал себя гладить, опять с удовольствием ел сахар, а вечером терпеливо ждал, чтобы взрослые закончили свои дела и можно было войти в конюшню и забраться в стойло спать.

Так и прошла эта удивительная история, о которой все и сам Латуня скоро забыли и смысла которой никто никогда не разгадал.

КРИК

Летом я стараюсь выбраться из города, чтобы поработать в тишине. В Васютине у Потяевых есть для меня тихий угол.

Работаю я там в тёмной, спокойной комнате у окна. Разгибая спину, вижу кленовый буйный подрост, обступивший подножие дуба, поодаль толстые стволы сосен и старую ель, её нижние поредевшие лапы. Ещё дальше, сколько охватывает глаз, колышется, перекидывая солнечные пятна, и шумит, как море, листва.

На этот раз я попала в Васютино весной. И когда вошла в комнату и выглянула в сад, то пожалела, что приехала рано. Деревья стояли голые. Старый дуб у окна показывал свой узловатый, бугристый ствол и корявые ветки. Одна ветка надломилась, висела беспомощно. И вокруг всё буро, мрачно: пустое небо, пустая земля.

Мимо окна пролетел дятел. Он сел на дальнюю сосну и там исчез, нырнул куда-то. Я достала бинокль. Высоко под сучком чернела круглая дырка. В ствол возле неё вцепился ещё один дятел. Первый вылез, второй посторонился — этот был помельче, побудничнее. У большого на затылке красный знак, у этого знака нет.

Мне ещё не доводилось наблюдать гнездо дятла, и я подумала, что, быть может, не зря приехала сюда в такую раннюю пору.

Вскоре всё ожило. Я бросала из окна корм, и зеленеющий дуб стал напоминать гостиницу. Кто только не присаживался на его ветки, чтобы поесть, наскоро почиститься и следовать своим путем дальше! И кто-то с полосками на голове и тонким, курносо посаженным клювом, и мелкорослый, но удалой, хвост торчком, и солидный, с косой белой бровью.

Два дятла торопливо обстукивали дуб, разгоняя синиц, подхватывали с земли хлеб и летели к своей сосне.

И вот сквозь шелест деревьев и птичью звонкую разноголосицу пробился новый звук. Он доносился глухо. Я обшаривала с биноклем кусты и деревья и никак не могла сообразить, что за звук и откуда он. Вспомнила про дупло, навела бинокль и различила в глубине длинный светлый клюв. Это был дятлёнок.

— Ки-ки-ки-ки-ки! — кричал он на весь сад…

Над сизыми иголками старой ели поднялись молодые побеги. Цвёл пышный куст бузины возле забора. Дятлят не могли теперь заглушить ни пролетающие самолёты, ни дожди. В дупле маячила всегда одна голова с красным лбом, один орущий клюв. Но, судя по тому, как с темна до темна трудились родители осанистый отец и проворная, словно синица, мать, — детей было много.

Голоса их крепли, и минутами казалось, что кто-то без смысла выбивает металлическую ноту на пишущей машинке.

Вылетели из гнёзд птенцы горихвосток, трясогузок, мухоловок. Они кормились под дубом, отдыхали среди его листьев, и часто невозможно было отгадать, чей малыш, пухлый, нежно и неопределённо окрашенный, прижался к стволу и крепко спит под шум дождя. И только когда он зевал и потягивался, то по расправленному крылу я узнавала в нём зяблика или мухоловку-пеструшку.

Появились и молодые воробьи. Вот воробей-отец треплет корку хлеба. Двое сыновей, обскакивая друг друга, пищат, дрожат, разевают рты, и он торопливо, нервно суёт им в горла хлеб. Один выронил крошку. Другой моментально склевал. Тот, что выронил, сердито наподдал брату, тут же присел перед отцом и жалостно затрепетал. Ещё трое, теснясь, запрыгали вокруг воробья, и он не выдержал, рванулся вверх и чуть не влетел мне в лицо — я стояла у окна.

Воробьи улетели. Грелись на солнце сиреневые сосны. Под соснами, в кустах акаций, кто-то возился, раскачивая ветки, перепархивал беззвучно. Я вдруг заметила, что в саду тихо. Достала бинокль.

Из дупла высовывалась голова с красным лбом. Дятлёнок смотрел вниз. Так же внимательно он поглядел вверх и вылез до пояса. Но тут же спрятался. Донеслось его негромкое взволнованное «кри-кри», и он выдвинулся решительнее. Цепляясь за кору, шагнул из гнезда и всем телом прильнул к дереву.

Вместе с ним я испытала страх. Подо мною пропасть. Над головой нет крыши. Бьёт яркий свет, весь ты на виду!

Птенец забил крыльями, оторвался, словно падая, и я увидела первый вылет дятла…

* * *

За окном стал появляться отец в сопровождении двух детей. Куда девалась мать с другими птенцами, я так и не узнала.

Отец растил двоих. Они были разные, его дети, — один крупный и толстый, другой щупленький. Скоро я заметила, что большой не подпускает меньшего, и всё, что находит отец, достаётся только ему.

Вот они сидят, все трое. Я растёрла по дереву кусочек сала, и отец прилежно подчищает кору. Птенцы ждут. Дятел вылизал, потянулся к детям. На конце клюва — белый шарик. Большой

птенец отпихнул маленького, птицы соприкоснулись клювами, толстый проглотил сало. Хотел отодвинуться, но отец вытолкнул изо рта ещё шарик. И этот достался сильному.

Шли дни, и я наблюдала, как они летают втроём, как набирается здоровья рослый птенец и чахло тянется другой.

И вдруг он явился без отца, тот, слабенький. Когда я подняла от стола голову, он сказал несмело:

— Крик.

Я кинула хлеба. Он слетел на землю. И тут появился его брат, тоже один. Он бесцеремонно подобрал кусок и улетел. А меньший прижался к земле, запрокинул голову, смотрел на меня снизу вверх, и видно было, какие у него острые плечи и узкая грудь.

Я поскорее отломила хлеба и бросила. Ловкий воробей выхватил у дятлёнка кусок чуть не изо рта. Снова я кинула, и опять опередил воробей. Дятлёнок метнулся, вцепился на миг в подоконник и отлетел на ствол.

От спешки у меня крошилась булка… Наконец я увидела, как дятлёнок накрыл собою кусок, спрятал его под живот.

С тех пор он надеялся на меня, а я всегда была наготове. Прилетал он бесшумно. Пока работала и не двигалась, он молчал. Но едва я шевельнусь, как он произносил:

— Крик!

Крик — это и стало его именем.

* * *

Пышная сойка уверенно, с пренебрежением к мелкоте, слетела прямо на воробьёв, и они брызнули кто куда. Сойка затолкала жёлудь в рыхлую сырую землю, отпрыгнула, взяла палый лист, накрыла сверху. Подобрала прутик, уложила на лист… Пришла осень.

Осень наступила, а я ещё не видела, чтобы Крик долбил деревья. Он легонько постукивал по коре, зевал по сторонам и, если не было подачек, улетал. Я считала себя виноватой. Зачем приучила его к лёгкому хлебу? Зачем баловала? Не пережить ему зимы…

Но тот хлеб, которым кормила его я, он все-таки учился обрабатывать. Он пользовался на дубе отцовской кузницей — наростом с ямкой посредине. Я видела, как он вложил туда корку. Она сразу выпала. Крик соскочил, поднял её, вложил, ударил — и она очутилась у него в клюве. Хлеб почему-то не держался в кузнице, и я не могла понять, каким образом у других такая работа ладится.

Но упорство у дятлов в натуре. Если хлеб вываливался, Крик успевал прижать его к стволу грудью и так склёвывал. Следующий кусок опять заталкивал в кузницу, и всё начиналось сначала…

Между тем сад отцветал. Опустилась и поблёкла бузина, её яркие гроздья сморщились в комки. Подкашивались длинные стебли иван-чая, сошли его цветы, отлетел и пух, а тот, что остался, был всклокочен дождём и ветром.

Дятлёнок сунул в кузницу хлеб и не отщипнул, а вывинтил крошку. Кусок остался на месте. С новой для меня ухваткой Крик вбил кусок поплотнее, вывинтил ещё, и когда вывинчивал, то щурился от усердия.

И я перестала его кормить. Пускай добывает своих червяков и личинок. Пусть учится как следует. Зима идёт!

Дожди трамбовали размокшую листву. Она чернела, сливалась с землёй, сыпались новые листья, чтобы тоже обратиться в почву. Давно пропали зяблики. Синицы и поползни появлялись редко, нет воробьёв, не видно и дятлов. Оголявшийся дуб не походил больше на гостиницу.

Настал день, когда я разложила на койке рюкзак и начала собирать вещи. В комнате было сыро, холодно, среди дня стояли сумерки. Я принялась связывать книги.

— Крик! — донеслось из-за окна.

Он сидел на обломанной ветке и ждал. Я не выдержала, кинула в форточку печенье. Крик только проследил, как оно упало. В форточку дуло, я притворила её, а он за мной наблюдал.

Я заметила, что красный лоб — признак юности дятла — начал у него чернеть. Крик повзрослел, но по-прежнему оставался небольшой, лёгкой птицей. И опять я подумала о зиме.

Затем я увидела, как он встрепенулся, расправил и почесал крыло и живо перескочил с сучка на ствол. Он согнул шею так круто, что его затылок стал острым, и взялся за работу. Как он долбил! Он что-то выбивал из-под коры, вывинчивал, вышибал, и тело его содрогалось, а хвост каменно упирался в ствол.

Он повернул ко мне голову с широким важным лбом, и я уловила, что выражение достоинства, свойственное этим птицам, появилось и у Крика. Будто он понимал, как лихо пришлось бы без него и старому дубу, и дряхлеющей сосне, и что вообще лесу без дятла не жить…

Я складывала листы бумаги — работу, сделанную мною за лето. Но куда больше радости доставляла мне сейчас другая работа, звуки которой доносились через стекло.

За окном стучал дятел. Это работал Крик.

ДРЕВНЯЯ РАКУШКА АММОНИТ

Хозяин медведицы Машки лётчик Нагорный служил на Сахалине. Его переводили в другую воинскую часть. Он не захотел расстаться с Машкой — она попала к нему медвежонком, прожила четыре года. Нагорный доказывал, будто медведь помогает на охоте. Крупные хищники избегают его, потому что он сильней, а сам он летом никого не трогает. И если взять медведя в тайгу, скорее увидишь оленя, либо косулю — они от медведя не бегут. Мне думается, Нагорный привязался к зверю, а охота тут ни при чём. Но человек он настойчивый, раз задумал — сделал.

Он вёз медведицу в клетке, в багажном вагоне. В Москве предстояла пересадка. Нужно было перебросить медведицу с одного вокзала на другой. Кроме того, Нагорный собирался преподнести музею Московского университета двухметровый клык мамонта, найденный на острове Врангеля, древнюю ракушку аммонит величиной с колесо, выкопанную при земляных работах где-то возле озера Баскунчак, и ещё кое-какие окаменелости.

Поезд прибыл ночью. Музей, конечно, был закрыт. Нагорный позвонил мне с вокзала. Мы решили, что клык мамонта и остальное он завезёт ко мне, а я после передам в университет.

Я спустилась во двор встречать Нагорного. Он подъехал на грузовике. Откинул борт. На платформе стояла клетка с медведем.

— Узнаёте? — спросил Нагорный.

Конечно, Машку нельзя было узнать. Я видела её маленьким скулёнком, который ныл, просился на руки, выклянчивал сладкое. Я находилась тогда в командировке на Сахалине.

Начали перетаскивать ко мне в квартиру вещи. Было поздно, лифт не работал. Ракушку Нагорный с шофёром подняли на восьмой этаж вдвоём. Постепенно перенесли всё: клык мамонта, чурбашок — и довольно порядочный окаменевшего дерева, глыбу каменного угля с отпечатком древнего папоротника.

Сошли вниз — прощаться. И тут Нагорный сказал:

— Ну как мы с Машкой к вам в гости пожалуем?

Он, я была уверена, шутит. Я ответила:

— Милости просим.

— А ведь побоитесь её впустить. Мебель попортит.

Через пять минут мы с ним обозревали мою комнату.

— Кое-что придётся убрать, — распоряжался Нагорный, — на всякий случай. Стол давайте в середину. Кресло застелите чем-нибудь. Морковь у вас есть? Ага, бублики!

По лестнице поднимались вчетвером. Впереди, оглядывая двери спящих квартир, шла я. Ужас как я боялась, чтоб кто-нибудь из соседей не появился! За мной двигался Нагорный с Машкой на цепи. Последним — шофёр.

Распахнув обе двери, входную и ту, что вела в комнату, я взбежала по лесенке, упиравшейся в запертую чердачную дверь. Медведица охотно прошагала с хозяином восемь этажей, но перед входом попятилась и села.

— Ну, Ма-ашка! Ну, ну! Не трусь, не трусь! — приговаривал Нагорный, поглаживая медведицу и подавая ей сахар.

Меня удивили слова Нагорного. Такая зверюга — и трусит? Чего ей тут бояться, могучей медведице?

Наконец они вошли в квартиру. Мы с шофёром, переступая порог, обменялись взглядами. Слегка обалделый был у шофёра вид. У нас, думаю, было одинаковое выражение на лицах.

Под ярко горящей люстрой у меня в комнате сидит в кресле настоящий медведь. Навис над столом косматой горой — и стол, за которым умещается одиннадцать человек гостей, выглядит маленьким. Один только медведь и кажется настоящим, остальное — игрушечным: стульчики, тахтица, шкафчик, кукольные книжечки в нём.

Машка с аппетитом хрустит морковью. Обронив на пол зелёный огрызок, берёт из миски бублик. Медвежья лапища с кривыми железными когтями деликатно держит бублик. Рот приоткрывается чуть-чуть, зубы откусывают понемножку. Зверь ведёт себя за столом безукоризненно. Ест без жадности. Не торопясь. Разглядывая бублик своими медвежьими глазками. Хозяин сидит возле Машки и тоже ест бублик. Мы с шофёром стоим в дверях. Мы уже освоились, осмелели. Начинаем обмениваться впечатлениями…

Машка сидела к нам левым боком, в профиль. Справа от неё, за спиной Нагорного, — зеркало, трельяж с тумбочкой. Машка повернула голову вправо и перестала жевать. Пошевелилась — и в зеркале пошевелилось. Мех у неё на холке поднялся дыбом. Вмиг она очутилась на столе. Она глядела в зеркало и пятилась. Задние ноги соскользнули, Машка попыталась удержаться и передней лапой хватила по миске. Морковины стрельнули по комнате, миска загремела об пол. Машка с рёвом ринулась со стола. Нагорный ухватил её за ошейник, бросился на неё верхом, желая остановить, но его подошвы скользили по паркету.

— Бегите! — закричал он.

Мы с шофёром так и прыснули прочь. Из кухни слышали медвежье мычание, скрежет цепи по косяку.

Мы выскочили на площадку. Далеко внизу неслась

медведица. За ней, схватившись за цепь и за перила, ехал на ногах хозяин, и его каблуки дробно отсчитывали ступени.

Когда я выбежала на улицу, Машка была уже в клетке. Как удалось туда водворить её так быстро — не знаю. Она металась перед решёткой, нервно порёвывая.

Нагорный сидел в кузове на борту, рядом с клеткой, и курил. Увидев меня, он подмигнул. Чуб у него прилип ко лбу. Он выглядел деревенским парнем, который нарубил дровишек и отдыхает, довольный.

Ракушка и мамонтовый клык так и остались у меня — музею они не нужны. В музее всё есть.

Когда знакомые спрашивают, что это за вещи, я вспоминаю Машку, как она приходила в гости, как я вернулась, проводив её, в свою разгромленную комнату, прибралась, — и впервые не понравилось мне дома.

Я поняла, что жить мне надо не в городе. Где-нибудь при лесничестве, при таёжном кордоне, что ли.

Но как оторваться от города, если тут родился, тут все твои друзья, твой дом!

А часто теперь ночами я представляю, как утром отворила бы двери — и сразу передо мною лес…

ВАНГУР

Запала мне в душу Сожва! Что в ней хорошего, в Сожве? Холодна здесь река Печора. Обрывисты, круты её берега, между избами Сожвы свободно гуляет ветер. Лето здесь коротко. В сентябре снег, и в мае снег. Поглядишь с одного берега на другой: взбираются по откосу дома. Через ручей по спичке-бревну ползёт маленький человечек. Перебрался и лезет по тропке в гору. И спускается опять, и переползает через второй ручей.

Внизу у воды сидит собака. Она давно лает, в её голосе прорывается отчаяние. На той стороне её дом, или туда уплыл хозяин. Снег валит шапками — первый в году снег. Он летит косо и тонет в ледяной воде.

Собака замолкает. Она входит в воду. Её белая голова медленно удаляется. Острые уши прижаты к затылку. Всё дальше, дальше одинокое белое пятно на чёрной воде.

Снег редеет. На том берегу из леса к реке сползла широкая дорога. Это Посохинский тракт. В старое время купцы вывозили трактом с Печоры пушнину и рыбу. Триста вёрст от Сожвы до города Посохино.

Не дотянув до воды, тракт расплывается лугом, зарастает кустарником, его перегораживают плетни да огороды. Но вверху он раздвинул чащу, и там, на взгорье, показывается человек. Если б человек стоял, он затерялся бы среди поздней побуревшей листвы. Но он идёт. Даже из такой дали видно, как легка его походка. За плечом угадывается ружьё.

Человек начинает спускаться, а над ним ещё кто-то выступает из лесу. Сперва не разберёшь, что там движется. Но снег стихает. Проясняется тяжёлая вода Печоры, солнце бежит по склону. На дороге — лось.

Человек идёт, и лось идёт. Хватаясь за ветки, оскользаясь, человек шагает вниз, и лось шагает. Человек останавливается. Достаёт что-то из кармана. Зверь тянет к нему длинную голову с лопатами-рогами.

…Собака выбирается на отмель и встряхивается. Всходит наверх, ещё отряхивается и стоит, глядит куда-то. У неё точёная морда и клубком уложенный на спину хвост.

Собака носится по лужайке. Она лает, и слышен её возбуждённый, окрепший голос.

А кругом тайга. Гущина и болота. Кругом беломошные светлые боры, где сосны, одна от другой поодаль, высятся торжественными колоннами.

1

В Сожве выращивают ручных лосей. Когда я туда приехала, на ферме было восемь маленьких лосят. Они были так похожи друг на друга, что я отличала только троих: самую рослую — Умницу, самую красивую — большеглазую Бирюсину и Вангура — самого мелкого.

На ферме отбирали здоровых, крупных, послушных животных, а от строптивых и слабых старались избавиться. Таких лосей иногда отсылали в зоопарки. Звероводы вообще мелких не любят. Мелкий чаще болеет, с ним больше хлопот, а вознаградит он за хлопоты, выровняется или нет неизвестно.

Если начать лосёнка выкармливать, когда ему не больше пяти дней и он не успел привыкнуть к своей матери, он на всю жизнь привяжется к человеку. Но попробуйте выходить сосунка!

Кажется, напоить лосёнка очень просто. Надеть соску на бутылку с тёплым молоком и дать. Но звериных сосок не бывает, а детские слишком тонкие. Детские соски часто слипаются. Лосёнок наглотается воздуха, бока у него раздуются, всего его разбарабанит.

Тогда хорошенько моют руки и подносят лосёнку палец, смоченный молоком. Лосёнок сосёт палец, а руку тем временем

опускают, и лосёнок нагибается за рукой. Рука, ладонью вверх, лежит в миске с молоком. Высовывается только один палец — удобнее выставить безымянный, — и лосёнок начинает втягивать молоко с пальца. Так он постепенно привыкает пить из ведёрка.

А бывает, что не заставишь его брать соску. И палец брать не заставишь. И из миски он не хочет. А его по пять раз в сутки надо поить, не то случится беда. Лосята ведь очень нежные!

Так было и с Вангуром, самым мелким на ферме. Он всех замучил, и придумали его поить без соски. Бутылку засовывали поглубже ему в рот, молоко лилось и волей-неволей приходилось ему глотать. Остальные лосята давно приучились к ведру, а Вангур привык к поднятой бутылке и всё тянулся вверх, шагал во время кормёжки на задних ногах, норовя передние опустить человеку на плечи.

У Вангура был отличный аппетит. Он будто знал, что ему нужно догнать других лосят, и он старался. Но в росте всё равно отставал. Возле фермы, на стене избы — кормокухни, для лосят были подвешены кормушки. При мне их меняли. Семерым новые корытца оказались впору, а Вангуру край резал горло, и плотник был недоволен, когда пришлось отбивать корыто и прибивать пониже.

Каждый день лосят выгоняли в лес. Сначала они паслись у берега. В шестом часу утра, когда туман ещё скрадывает на том берегу чёрные кедры и золотые лиственницы, Оля идёт по узкой ныряющей тропке над рекой. За ней, срывая на ходу румяные листья шиповника и малины, лениво тянутся лосята. Оля ведёт их за собой, потом прячется в кусты, и лосята продолжают путь без неё. Они уходят в прибрежную тайгу, и, бывает, с реки увидишь лосёнка, наставившего на лодку большие уши.

К вечеру их встречают. Иногда за ними идут далеко, дальше того песчаного пляжа, на котором однажды я видела след выдры. А чаще они возвращаются сами. Вангур прибегает первым, и это всех сердит, потому что он не добирает на выпасе зелёных кормов и путает рабочий режим фермы. Нет ещё трёх часов, а лосёнок обследовал пустые кормушки и мечется перед запертыми воротами.

Заведующий фермой Алексей Алексеевич Корышев говорит, что виновата работница фермы Лукманова. Даша Лукманова виновата, что её брат Федя балует и сбивает с толку Вангура. Тропа ведёт мимо избы Лукмановых. Лосёнок знает Федино окно, и, если приглядеться, увидишь под окошком покорябанную копытами стену. Это Вангур тянулся за хлебом.

2

Вангур так часто попадал в беду, что оставалось только изумляться. Почему именно Вангур ободрал себе бок? Почему он один в субботу не вернулся домой и ночевал где-то в лесу? Почему он, а не другой лосёнок занозил себе ногу?

Вангура повалили на сено, и Оля с Катей налегли на него. Алексей Алексеевич разрезал ему подушечку под копытом и оттуда извлёк занозу толщиной с карандаш. Алексей Алексеевич ругал лосёнка, и Оля, стоило Вангуру шевельнуться, принималась ворчать. А я думала: за что они его? Беднягу режут, а он молчит. Он терпит. Не знаю, как повели бы себя другие лосята, но этот умел переносить боль.

Вангура перебинтовали и поместили в маленький загон около лаборатории. Теперь он не ходил в тайгу. Его товарищи, звеня колокольчиками, пробегали мимо, а он смотрел на них большими наивными глазами.

Я иногда навещала лосёнка. Ни разу он не поднялся на мой зов — а ведь он меня прекрасно знал. Я убедилась в этом раньше, в тот день, когда лосят решили выгнать на новое место — не вдоль реки, а от реки вверх, по тракту. След в след за Дашей и Олей я огибала вязкие лужи, ступая по скользким валежинам, по краю мягкого мохового болота. Позади остался лабаз — доска, прибитая высоко между двумя густыми елями. Если влезть туда и застыть недвижимо среди ветвей, многое увидишь. Не только птицу и белку. Может выйти медведь (замри тогда!). Может и куница мелькнуть, желанная в Сожве гостья.

В тайге я часто думала, что мне делать, если повстречается медведь. Волка и росомаху я не боялась встретить, а медведя — боялась.

Я спросила девушек о медведе. Даша ответила:

— Чего делать? Своей дорогой идти потихоньку, да и всё. Ему если надо, он так и так догонит.

Узнав по следам, куда ушли лосята, мы свернули направо, на старую лесовозную дорогу. Даша и Оля по очереди звали лосят, и вскоре они выбежали к нам. Вангура среди них опять не было. Даша и Оля увели семерых, а я осталась искать злополучного восьмого.

В Сожве каждый — следопыт. По сухой ли, по размокшей земле прошёл зверь, моховым болотом или чащей — след прочтут. И я, проведя в Сожве немного времени, уже смогла разобраться, где лосята шагали спокойно, где побежали, забирая к лесу, и где потом, метров через двести, один из них вернулся на

дорогу.

Какая тишина стояла в осенней тайге! Лес молчал, будто окаменел, и ни ветер, ни белка ни разу не шевельнули ветку. Высоко в небе плыли четыре большие птицы. Это тянули к югу, отлетали хищные птицы канюки…

Дятел коротко ударил по сушине, и я остановилась посмотреть на дятла. Он слетел на сучок, улёгся на нём и задумался, и странно было видеть такую деятельную птицу неподвижной.

Надо было звать Вангура, а мне почему-то не хотелось подавать голос. Казалось, я вспугну кого-то притаившегося или привлеку чьё-то недоброе внимание.

Я крикнула:

— Вангур!

И услыхала, как оборвался мой голос. Тогда, пересилив себя, подражая звероводам, я изо всех сил, протяжно и на одной ноте закричала:

— Вангу-ур, скорей, скорей, скоре-е-ей!

У дороги стояла сломанная сосна. Она переломилась посередине, сложилась вдвое, её верхняя половина, удерживаясь на последней щепке, обвисла вниз. Порыжевшей мёртвой макушкой сосна касалась своих корней. И всюду, куда ни глянь, торчали гнилые пни, валялись упавшие деревья или стояли, наклонясь, те, которым время было падать, но они цеплялись за соседей и удерживались кое-как.

— Вангур… — снова начала было я, как вдруг далеко впереди от серых стволов отделилась маленькая серая капля. Тоненькая, едва различимая, она двигалась и нарастала, и я разглядела, что это бежит лосёнок.

Он летел, отчаянно звеня колокольчиком. Он был узким в груди, и коленки его длинных ног были тесно сдвинуты, но копыта он широко разбрасывал на стороны и бежал размашисто, с лёгкостью и стремительно.

Я поскорее достала хлеб. Лосёнок чуть не сшиб меня грудью. Он взвился передо мной на дыбы и забил в воздухе передними копытами. Я отшатнулась. Он подскочил с вытаращенными глазами, со вздыбленной холкой и дыхнул мне в лицо чем-то горьким и свежим. Выхватил хлеб и кинулся по дороге к дому.

Я побежала за ним. Он вжался в кустарник, спрятался за поворотом. Увидел меня, выпрыгнул и понёсся дальше. Я бросилась вдогонку, но он показался снова. Он летел обратно и на бегу сделал фокус, какого я ещё не видывала. Одновременно выкинул в стороны задние ноги, левую высоко влево, правую вправо, и я окончательно поняла его. Поняла, как он тревожился,

отстав от своих, и как рад, что встретил меня в незнакомом глухом углу.

3

Выйдя однажды из лаборатории, мы с Дашей решили навестить Вангура.

Ферма ведёт научную работу, поэтому в лаборатории, кроме всего прочего, хранятся дневники. В них записано, сколько лосята прибавили в весе, какой у них рост, как они себя ведут, когда их начинают приучать к уздечке. Там я прочитала, что в последний раз, двадцать первого сентября, Умница весила 113 кг, а Вангур — 66. И что рост Вангура в холке только метр и десять сантиметров.

Мы направились к лазарету. Перед нами, тоже к загончику, шёл Федя, Дашин брат. В ясные дни Вангур нежился на солнышке, и сколько, бывало, ни зовёшь его, он и ухом не поведёт. Поэтому я удивилась, когда Вангур поднялся и проворно заковылял к калитке, едва парнишка его окликнул. Только потом я узнала, что летом, в школьные каникулы, Федя от лосёнка не отходил.

Мы с Дашей остановились у калитки. Лосёнок теснил мальчика, чуть не наступая ему на ноги, а Федя доставал хлеб. Даша спросила брата с усмешкой:

— Всё растишь?..

Тот ничего не отвечал.

— Знаешь, сколько весит? — продолжала Даша. — Шестьдесят шесть! Умница вдвое против него весила!

— Ну и что? — пробурчал Федя.

— А то! Зима на носу! Зимовать как будет? Пьёт — отстаёт, идёт отстаёт. Лентяй, и попадёт в беду. Я таких не жалею!

— Он не лентяй… Послабже других, верно.

— А нам таких не надо!

Мальчик больше не спорил. Он поглаживал лосёнка, нащупал и что-то извлёк заботливо, какую-то колючку из шерсти, и мне запомнилась его рука. С короткими пальцами и широкой ладонью, тёмная, огрубевшая детская рука прочёсывает рассыпчатую холку Вангура…

После я спросила Дашу:

— Зачем вы с ним так?

Она ответила:

— Чтобы слюнтяем не рос! Больно жалостливый!

— Так хорошо ведь, что он жалеет.

— Я сама жалею, — сказала Даша, — так чего делать? Ферма лучших должна отбирать. Мать у Вангура не молочная, отец неизвестно какой, он от дикого. Мелкий, вялый, бесхарактерный!

Не жить ему у нас! Чтобы Федька не ревел тогда!

Множество раз я наблюдала, как Даша нянчится с Вангуром, и, думаю, нелегко теперь ей давалась рассудочность.

Но он в самом деле был особенным, этот Вангур! Я не забуду, как он держался в тот вечер, когда не вернулась Умница. Оля с Алексеем Алексеевичем ушли искать Умницу. Лосят покормили, завели во двор, и они там отдыхали. Одни переминались с ноги на ногу, другие разлеглись, жевали задумчиво. Только Вангур тревожно ходил у ограды с той стороны, откуда должна была появиться Умница. Он отрывисто, тонко постанывал: «М… м… м…»

Смолкал затаив дыхание, наставив к лесу уши. И продолжал шагать, огибая лежащую Бирюсину и вскрикивая жалобно: «М-а! М-а! А!»

Один из всех он чувствовал неладное.

Я сказала Даше:

— Мне тоже нравится Вангур. Алексей Алексеевич вытаскивал у него занозу — его режут, а он молчит.

— Лоси вообще терпеливы, — возразила Даша, — покричи-ка в тайге, раненный! Съедят!

Она была права. Работники лосефермы — звероводы, селекционеры — были правы. И о Вангуре Даша знала больше моего. Она лучше понимала зверей. Может быть, и жизнь понимала лучше. Да и что я стала бы объяснять? Что из восьми лосят именно этот — самый… ну, тонкий? Что не один человек — и животное может обладать душевной прелестью?

Это не имело значения для фермы и не могло помочь Вангуру.

4

Не знаю, судьба ли мне ещё побывать в Сожве. Очень уж она далека. На самом краю света. За ней — тайга, тайга да одинокие избы-кордоны в тайге.

Чаще других я переписываюсь с Елизаветой Николаевной, старой учительницей, которая приехала на Печору, когда не было самолётов и добирались до Сожвы почти месяц. У крыльца Елизаветы Николаевны кого только не увидишь! Она подкармливает птиц, собак, лошадей — обе сожвинские лошади, бывало, топчутся у её дома.

Недавно пришло письмо от Алексея Алексеевича: «В Сожве без перемен. Зима только что наступила, морозов ниже -23° ещё не было. Река не стала. У нас откололи и повернули поперёк реки льдину от забереги, тем самым установили пешеходную связь с противоположным берегом…»

Два года время от времени я получаю такие спокойные письма. И вдруг в один день приходят сразу два письма, в обоих одна и та же вырезка из местной газеты. Заметка озаглавлена:

ЛОСЬ СПАС ЧЕЛОВЕКА

И я узнаю, что бесхарактерный, лентяй, самый слабый, «уши длинные, а толку нет», в самом деле спас человека…

* * *

На ферме не случайно одомашнивают лосей. Лосиху можно доить, у неё хорошее молоко. По захламлённой тайге и болоту, где лошадь увязнет, лось пройдёт. Когда надо подлезть под зависшее дерево, лось пригибается, не хуже лошади оберегая вьюки на спине.

Вангура, когда он вырос, отдали в геологическую партию носить вьюки.

Прошлый Новый год несколько молодых охотников из Сожвы, и Даша с Олей в их числе, встречали в лесу. Новогоднюю ночь они провели в охотничьей избушке, а на другой день, захватив пару зажаренных глухарок, отправились к геологам, в ту партию, где трудился Вангур. Даше и Оле, кстати, хотелось посмотреть на Вангура.

На полянке у костра возились ребята из партии, тоже жарили

птицу. Сожвинские только заговорили с ними, как увидели, что идёт лось. Даша окликнула его — он так и кинулся. Он через костёр шагнул к Даше, и в воздухе запахло палёной шерстью. Я догадываюсь, что Даша была тронута, хотя в письме она сдержанна, как всегда. Она рассердилась, увидев потёртости на спине Вангура, и с начальником партии произошёл неприятный разговор. Тем не менее сожвинская компания осталась у геологов, чтобы второй раз отпраздновать Новый год.

Гуляли в бараке. Опять зашла речь о Вангуре, и начальник партии вздумал лося пустить в дом… И вот высится над столом длинная голова и с худой горбоносой морды доверчиво глядят на людей прекрасные звериные очи.

— Виноваты перед тобой, Вангур, — говорил начальник, — давай угощайся, малый. Чего тебе?

Он протягивал миску солёных огурцов, а лось нюхал и трогал огурцы своей мягкой губой.

Вскоре после того стало известно, что Вангур пропал. Он стоял, привязанный, у барака, и подходившие чужие геологи в темноте приняли его за дикого. В него стреляли. Он порвал ошейник и ушёл, оставив на земле много крови.

Лоси, выросшие на ферме, вольно живут в тайге. Ручные лоси не дичают и к зиме обычно возвращаются домой.

Вангур не вернулся ни летом, ни зимой, он остался жить среди диких. Но один раз Даша видела его.

Известно, что лоси не терпят детей. Вероятно, ребёнка из-за маленького роста лось принимает за зверя, который тоже ведь низко стоит на ногах. Когда из Сожвы отправляют лося в какой-нибудь зоопарк, в сопроводительной бумаге обычно пишут: «Строг к детям».

В Каменке, куда Даша приехала по делам, она обомлела, увидев лося-быка, возле которого вилась детвора. Четырёх-пятилетние ребятишки вопили и шныряли у его ног, а лось медленно шёл, переступая через одного, отбрасывая копыто, чтобы не задеть другого.

Они его не боялись, не потому ли он так необычно вёл себя с детьми? Хотя у этого лося могли быть на то и особенные причины…

Даша сфотографировала Вангура. Алексей Алексеевич Корышев не расстаётся с фотоаппаратом, и его ученики тоже. Даша прислала мне снимок. Этот снимок, окантованный, я повесила в комнате. Вангур стоит боком, обернувшись к аппарату. Можно понять, что он легковат для своих лет, но шерсть у него лоснится, и молодые, одетые в бархат рога венчают голову. У него худая нервная морда, а глаза смотрят доверчиво и тревожно.

На спине и на боку у Вангура светлые пятна. Одно, побольше, — след вьюков. Другие — от пуль… Как с горечью пишет Даша, «не одну втолкали ему пулю под шкуру». На Вангура люди охотятся. Раненный, он прячется, терпит и молчит, как умел терпеть и молчать ещё маленьким.

Затем вот что случилось в Сожве. Повыше Сожвы на Печоре есть Ушманский кордон — изба, где живёт лесник с семьёй. Младшему из детей четыре года. Самостоятельный, как все ребята на Севере, парнишка принёс из дому весло, сумел отвязать лодку. Родители хватились не сразу. Лесник бросился на поиски, передав по рации в ближайшие посёлки, что случилось несчастье.

Наутро и Федя Лукманов решил обследовать местность. Он, оказывается, рассудил, что мальчонка мог сойти на землю, а лодку могло затопить. Следы занесёт снегом — и мальчик замёрзнет. Федя хотел осмотреть левый берег Печоры, на котором Лукмановы живут, и засветло вернуться домой.

Когда Федя отправился в путь, ушманского беглеца уже нашли, живого и невредимого, но Федя этого не знал. Дома считали, что после школы Федя засиделся у кого-нибудь из ребят. Мне пока известны не все подробности. Я знаю, что Федя растянул ногу, а зайти успел далеко. Вечер и ночь он провёл в зимней тайге. Под утро увидел лосей, без колокольчиков, — наверное, это были дикие лоси. Федя всё-таки стал их звать, и великое счастье, что один из них оказался Вангуром.

Как Федя вскарабкался на спину Вангура и как удержался — не понимаю. Люди, которые объезжают лосей, рассказывают, что даже в седле, с уздечкой на лосе удержаться трудно. Лось нагибается сорвать листок, и как ни хватайся — летишь через его голову с клоком шерсти в кулаке.

Для меня загадка ещё и то, почему Вангур, которого ни раны, ни голод не пригнали к людям, в этот раз пришёл домой. Я показывала знакомым газетную вырезку. Описывала им характер Вангура. Зоологи утверждают, что ничего невероятного в этой истории нет.

Но я без волнения не могу себе представить, как через тайгу в морозной утренней мгле идёт лось. Как он дышит паром. И как пригибается под зависшей сосной, оберегая ношу на своей спине.

5

Елизавета Николаевна пишет, что она беспокоится, как теперь поступят с Вангуром. Он от маломолочной лосихи и не из крупных.

Оля пишет, что Вангур «замечательный у нас парень» и Алексей Алексеевич надел на него два новых крепких ошейника с колокольчиками. Чтобы издалека было слышно: лось домашний, трогать его нельзя.

А сам Алексей Алексеевич в письме возмущается, что за два с лишним года Вангур не отстал от дурной привычки. Топчется под окном у Лукмановых. Мальчишка лежит больной, зайдёшь навестить — на стекле во льду Вангур продышал кружок и там виднеется его заиндевелая морда.

ДВОЕ

Нехоженым, закаменевшим снегом забрало мосток, ручей под ним и тропу. Озноблённо топорщится кустарник, жгучий ветер гонит по сверкающей ледне сухой прошлогодний лист. Мороз.

Хорь затаился, припал к земле. Он заприметил лунку у корня старой ивы, где вылезают полёвки, и знал, что им уже время и скоро они появятся. Хорь не ел вторые сутки и потому охотился, хотя не чувствовал голода. Он был болен. Вчера целый день он спал, забравшись в трухлявый, заваленный ельником пень, ночью, поглядывая безучастно, слонялся по лесу, своим следом вернулся к лежке и продремал до рассвета. Сейчас он вышел на добычу, но тело у него ломило, и он хватал снег горячим ртом.

Хорь слышал, как глубоко под сугробами льётся ручей, и ему хотелось жаркого лета, хотелось кислой лесной костяники, и опять клонило в сон.

Он открыл глаза и увидел полёвку. Полёвка высунулась, осмотрелась и осторожно выбралась на снег. Стараясь, чтобы не бугрилась спина, хорь стал подбирать задние лапы для прыжка. Он ждал, чтобы запах полёвки раздразнил его, но, когда запах донёсся, почувствовал отвращение. Он поел бы теперь ягод, а не мяса.

И всё-таки он заставил себя сжаться и удобно упереться ногами. Пора было прыгать. Но хорь имел странную привычку часто оглядываться: он жил с постоянным ощущением, что на него могут напасть сзади и в самую неподходящую минуту — отбивался ли он от ястреба или оголодавшей лисицы, охотился ли, отдыхал, — он не мог отделаться от ощущения, что кто-то подкрадывается. И сейчас, перед тем как метнуться, хорь медленно, выворачивая шею, не отрывая головы от снега, оглянулся. За ним лежало пустынное поле. Тогда он кинулся.

Он упал возле ствола, и зубы его сомкнулись точно над тем местом, где только что сидела полёвка, — она ещё была там, когда он летел. Он сообразил, что промахнулся.

Раньше он никогда не промахивался.

Хорь сунул голову в лунку. Перебивая неприятный мышиный запах, шёл снизу крепко настоянный грибной дух отдыхающей земли, а летние следы, оставленные на занесённой тропе человеком, напоминали о тепле.

Скользя по ледяному насту, щурясь, на ходу остужая снегом воспалённый язык, хорь перебрался через ручей и вступил в лес. Он двигался не целиной, а дорогами, нагнув голову, с усилием разбирая по пути привычные знаки, подолгу задерживаясь на

перекрёстках.

Перед ним открылась река. Она была стянута льдом, а в середине, ближе к тому берегу, чернела полынья. Хорь приподнялся на задние лапы, застыл, присматриваясь, и спустился на лёд.

Тут было утоптано, поблёскивало рыбьей чешуёй, а от недавнего костра, от угля, ещё исходило тепло. Ему попалась хлебная корка. Он обнюхал и вцепился в неё зубами. Держа её во рту, оглянулся на всякий случай и стал есть не спеша, наслаждаясь. Он не едал хлеба, но никогда мясо, живое, трепещущее, вызывающее острое, неутолимое волнение, не доставляло такой радости, как спокойный вкус хлеба. Он съел, поискал ещё, ничего больше не нашёл и двинулся дальше.

Узкая тропа тонула в снегу, и всюду: на крупных тяжёлых следах, на вздымавшихся по сторонам намётах, даже в воздухе — прочно стоял человеческий запах. Хорь не переносил людей, но чем дальше, тем сильнее тянуло дымом и теплом, и он не шёл теперь, а скачками бежал.

Лес расступился, хорь свернул в кустарник. Перед ним была поляна. Над притихшей небольшой избой, с аккуратной поленницей дров у крыльца, чуть приметно, успокоительно дымилась труба.

Хорь перебежал открытое место и ступенька за ступенькой влез на крыльцо. Дверь была приотворена, но он не вошёл в неё, а прополз в щель под дверью и оказался в тёмных холодных сенях. Другая дверь была закрыта плотно, но оттуда манило желанным теплом, и он долго искал входа; наконец нашёл его наверху, под потолком, взобрался туда, головой вытолкнул войлок и на мягких лапах спрыгнул в комнату. И как только опомнился, встретился взглядом с человеком.

Человек этот, старик с трубкой во рту, сидел у дощатого стола и работал — стол был завален исписанной бумагой. Услышав шорох, старик оглянулся, а хорь замер, расставив лапы, изогнувшись после прыжка, и оба смотрели один на другого не шевелясь. Печка с распахнутой дверцей пылала, мелкие угли сыпались через решётку вниз и там тлели в глубине, и пар шёл от кипящего котелка.

— Вон кто пожаловал! — удивлённо произнёс старик.

Он поднялся, огромный, с могучими плечами, а хорь забился под лавку, прижался к стене, оскалился. Но большие руки надвинулись на него дружески и бесстрашно, и хорь дал себя взять. Старик достал блюдце, плеснул молока и подсунул хорю, по-кошачьи сидевшему у него на руке. Тот стал лакать, останавливаясь, вздыхая утомлённо, и один раз поднял голову и цепко уставился прямо в глаза человеку.

— Ну, ну, — проговорил старик, и хорь опять уткнулся в блюдце.

И, словно зная про него всё, старик отломил кусок хлеба. Но хорь уже не мог есть. Он только подобрал под себя хлеб и закрыл глаза. Старик сел за стол, придвинул бумагу, взялся за карандаш. Работая, он поглядывал на хоря, спавшего у него на коленях, покачивал головой и воображал себе страшную жизнь, пригнавшую зверя в человеческое жильё.

Хорь пробыл у старика четыре дня. Чтобы поесть, ему не надо было рыскать и выслеживать, а чтобы отдохнуть, не приходилось прятаться. Он никогда никому не доверял, только боялся и ненавидел. Даже своих не любил. Он бился за самку, и тогда свои были смертельными врагами; защищал хорьчат, если им угрожала опасность, но едва они подрастали, он уходил и забывал их. Враги или добыча всегда окружали его. И он жил сейчас оглушённый, разнеженный, сам себя не понимая, и, когда человек брал его своими тёплыми руками, выбирался из рук, ползал по груди и по плечам, нюхал старику губы, усы, а старик поглаживал хоря, приговаривая тихо:

— Ну и шуба у тебя, брат! Ну, шуба!

А на пятый день утром старик заметил, что хорь, примостясь на подоконнике, смотрит в лес. Там, в лесу, падал снег, деревья потемнели и сдвинулись, и ель, скованная до того морозом, свободно раскинула оттаявшие ветви.

Птица пролетела за окном, хорь метнулся и замер, и в напряжённом изгибе его длинной, стройной шеи, в повороте маленькой головы старик уловил хищное выражение, какого ещё не видел. И ещё одно запомнил старик: как хорь оглянулся. Он повернул голову с нервной, судорожной медлительностью и осмотрел комнату с тоскливым страхом затравленного. А когда человек направился к нему, хорь прянул на задние лапы, предостерегающе взвизгнул, готовый броситься.

Тогда старик приоткрыл дверь и вернулся к столу. Он сидел, посасывая трубку, хмуро наблюдая за хорем. Студёный пар пошёл клубами от двери, докатился до стены, поднялся к окну, и хорь, глубоко втянув в себя запахи леса, бесшумно спрыгнул на пол. Он пересек комнату крадущейся походкой, словно его выслеживали. У порога остановился и через плечо покосился на старика. Чуждо, с подозрительностью впились в человека холодные зрачки. Прижимаясь к доскам, хорь переполз через порог, распластался под дверью и исчез.

Старик вышел на крыльцо. Зажав зубами потухшую трубку, он смотрел, как уходит зверь. Мокрый снег залеплял маленький синий след. У края поляны хорь легко взмахнул на сугроб, слился

с кустарником, и оттуда с тревожным криком поднялись птицы.

Старик вернулся в комнату, присел у печки и долго, не шевелясь, глядел на огонь, слушая, как вокруг дома гудит лес.

ЖУЛИК

Жульке не много надо, чтобы развеселиться. Поставят вместо мелкой посудины ведро с водой — Жулька счастлив, потому что до страсти любит воду. Его брат Лобан и сестра Рина попьют, Лобан, может быть, лапой воду потрогает, а Жулька всунет голову по уши; он готов залезть внутрь и даже лечь там, но у двухлетнего волка только морда и помещается в ведре. Всё-таки он пытается встать на дно четырьмя лапами и до тех пор возится, пока не разольёт воду.

Иногда в клетку кидают красный мячик. Каждому хочется схватить мячик, но Жулька самый азартный. Три тяжёлых зверя толкаются, сотрясают клетку. Наконец сплющенный мячик у Жульки в зубах, и он снуёт из угла в угол, возбуждённый и немного озабоченный тем, что мячик некуда спрятать.

На решётчатый потолок забросили палку. Лобан попрыгал, но ему скоро надоело, а Жулька с Риной не унимались. Носом и зубами удавалось только коснуться палки — она лежала поперёк прутьев.

Рина остановилась, наблюдая за братом. Жулька скакал и скакал, и после каждого его прыжка палка меняла положение, поворачивалась и вдруг провалилась в клетку! Свалка, толкотня, волчьи челюсти в труху крушат дерево, и Жульке весело.

Больше всего Жулькино настроение зависело от Четвёртого волка. Четвёртый волк жил отдельно, не в клетке, и когда исчезал, Жулька догадывался, что тот отправился промышлять. Пропадал Четвёртый целую ночь, иногда и половину дня. Зато не было случая, чтобы тот вернулся без добычи. Вероятно, не всякий раз охота удавалась. Когда он совал в клетку лежалое мясо, Жулыка смекал, что умный Четвёртый делает запасы, припрятывая добычу на чёрный день. Волку любое мясо идёт впрок, и Жулька без капризов заглатывал, что давали.

Пришло лето. Подъёмный кран подцепил клетку с волками и поставил на платформу грузовика. Грузовик повилял по дорожкам киностудии, где до сих пор жили волки, и подъехал к воротам. В кузове возле клетки сидел дрессировщик. Он предъявил пропуск и объяснил дежурному, что едет в Ковшинский лес, где студия построила новую базу. Осенью, когда волки обрастут зимним пышным мехом, их будут в Ковшино снимать для кино.

Первая ночь прошла на новом месте тревожно. За высоким забором шумел лес, которого Жулька никогда не слышал. Лес шумел близко, и дальше, и ещё дальше, и совсем издали

доносился шелест деревьев. Жулька чувствовал, какой его окружает простор, и волновался. А Лобан, самый сильный и самый осторожный, был перепуган. Он крался от стенки к стенке, поджав к животу хвост, и часто, уставившись перед собой взглядом, начинал пятиться, будто на него надвигалось чудовище. Вместе с ним истерически шарахалась Рина, и это тяжело действовало на Жульку.

К рассвету Жулька вымотался до последнего нерва. Но вот раздались за оградой тяжёлые шаги. Лобан и Рина с Жулькой стали прыгать как безумные. Знакомо забрякали ключи, загремел замок, отворилась со скрипом высокая калитка — и Жулька завопил от восторга, завыл, и вся троица заголосила хором навстречу долгожданному Четвёртому волку…

Какая жизнь началась у Жульки! Каждый день ходили в лес. Жулька и Лобан с Риной рвались с поводков, тянули в разные стороны, и только очень сильные руки могли их удержать.

Волков спускали, они бросались наперегонки. Неслись вдоль заброшенной дороги, с сумасшедшей скоростью огибали малинник и пролетали поляну с высокой травой. Жульке встречались валуны, ямы, торчащие корни. Казалось, Жулька ничего не замечал, ни разу он не остановился. Но где-то внутри у него беспрерывно щёлкал маленький аппарат, и всё, мимо чего Жулька проскакивал не глядя, оставалось в его памяти. И потом, набегавшись, он возвращался к какой-нибудь кротовине или развалленному пню, чтобы рассмотреть их как следует.

Часа не проходило без новостей. То Жулька замечал сороку — сорока молча смотрела вниз, перелетая за волками по вершинам елей. То он увидел трясогузку. Трясогузка заманчиво покачивала хвостом, и Жулька, согнув переднюю лапу, изобразил стойку. Трясогузка вспорхнула, а Жулька, ничуть не огорчённый, побежал к Лобану.

С сестрой Жулька предпочитал не ссориться, а к брату приставал часто. Иногда ему удавалось стащить у Лобана мяса. Но чаще разозлённый Лобан вовремя хватал его за холку, и после короткой схватки Жулька убирался ни с чем.

Сейчас в траве сидел молодой дрозд. Дрозд для Лобана был пока не мясо, а неизвестно что, и Лобан, склонный к исследованиям и сомнениям, толкал птицу лапой, с интересом разглядывал её. Для Жульки тоже дрозд непонятно что такое, но он только пнул его носом и полетел к Рине.

Над речкой высилась сосна с обмытыми, оголёнными корнями. Из-под сосны на Рину потянуло живым запахом, и она ухватилась за корень. Волчица изгрызла толстый, железной прочности корень, измочалила его и принялась за следующий.

Этот корень был потоньше, и Рина, упёршись в землю ногами, рванула его, сломала и откусила оба конца. Затем начала бешено рыть землю. Ход показался ей узким, и ещё один корень затрещал у Рины в зубах.

Молодая волчица работала с таким ожесточением, что Жулька не решался принять участия и только наблюдал. Он дрогнул, и мышцы его напряглись, когда из-под сосны метнулось гибкое тело. Ласка бросилась в воду, и в ту же секунду за ней прыгнула Рина.

Маленький хищник успел переплыть ручей и взбежать по отвесному склону, но здесь Рина его настигла. Зверёк поднялся на задние лапы, над ним нависла волчица. Угрожающий и полный страха визг пронёсся по лесу — и прервался. Рина всё стояла там. Она оглянулась на Жульку. Тогда и Жулька переплыл ручей. Рина насторожённо наблюдала за ним, и он только понюхал мёртвую ласку. Затем волки, балуясь, скатились под обрыв и шлёпнулись в воду, оставив ласку на берегу.

Если полное ведро приводило Жульку в восторг, то речка окончательно лишала его разума. Пока Лобан, для начала полакав, сосредоточенно погружался, Жулька успевал обрушиться в речку, вскопать под собой илистое дно, взбаламутить воду и выхватить обросшую водорослями и улитками увесистую корягу. В корягу вцеплялась и Рина, начинались борьба, прыжки и кувырканье. И вот коряга забыта, Рина топит Жульку, а Жулька

вырывается и падает на спину Рине. Оба грязные, с облипшей шерстью, с довольными мордами барахтаются, кряхтят…

У Лобана намокли только лапы, брюхо и шея снизу. Он давно вылез на берег, стоит, глядя куда-то вдаль, и тихонько, про себя, поскуливает.

У него всегда тоска. В клетке тоска, и в лесу тоска. Для чего Лобану могучее тело и неутомимые ноги, если не надо охотиться и кусок мяса получаешь готовым? Для чего верный глаз и понятливое ухо, если лес только для развлечений? Постоянно в напряжении его нервы — для чего? Ведь никогда, никто, ничто не угрожает тебе и твоей стае. Где она, волчья настоящая жизнь?

А Жульке хорошо. Накупавшись, он карабкается на крутой бережок, охотно сползает на животе обратно, опять лезет и обрывается вместе с комьями глины, чтобы ещё раз с наслаждением ухнуть в речку.

То и дело он вспоминает о Четвёртом волке. Жульке надо знать, где тот находится, и он считает, что лучше всего Четвёртому быть постоянно рядом и на виду.

Жулька не настолько глуп, чтобы не заметить, что Четвёртый ходит на двух ногах и не покрыт шерстью. Да и ещё многое понимает Жулька: Четвёртый вроде бы и не волк. Но и не человек, потому что все люди Жульке чужие, а этот — свой.

Волки умеют считать, и Жулька давно сосчитал, что не трое составляют его семью, а четверо. В конце концов, нечего ломать голову над странностями Четвёртого. Он в семье добытчик, он старший и настолько свой, что кто же он тогда, если не волк?

Сейчас Жулька пробегает мимо Четвёртого, и вслед ему несётся одобрительное: «Жулик! Ай, Жулик!»

Жулька сразу поворачивает обратно. Четвёртый всегда разговаривает покровительственно, но с разными интонациями, и Жулька отлично улавливает это. Для каждого Четвёртый имеет свой голос. С оттенком почтительности и насторожённости — для волчицы, с уважением и сочувствием — для Лобана и с восхищением — для Жульки.

Четвёртый почёсывает и гладит Жульку. Жулька очень доволен, но он при этом не закатывает глаза, как Рина, и не обмирает, как Лобан. Он косится зорко, ловко выхватывает у Четвёртого из кармана рукавицу и уносится с нею, ликуя.

* * *

Ужин кончается. Мясо съедено до последней плёнки. Жулька лижет сахарную косточку, а сам следит за Лобаном. Лобан

припал к земле. Он прилаживается к гладкому, круглому мослу, с которого соскальзывают зубы.

Жулька встаёт. Лениво бредёт он мимо Лобана. Замедляет шаг. Лобан занят костью. Жулька придвигается боком. И вдруг мягко кладёт лапу на голову Лобана.

Лапа соскальзывает по большой волчьей морде. Жулька поправляет лапу, и она опускается то на лоб, то прямо на нос. Лобану. Лобан увлечён, он силится поймать зубами скользкую кость. Когда лапа попадает ему на глаза, он только жмурится.

Жулька и его лапа — два отдельных существа. Сам Жулька отвернулся и будто дремлет. Веки его полузакрыты, уши по-лисьи приглажены, Жулька не видит, не слышит, его тут вроде бы и нет. На миг вспыхивает полный острого напряжения взгляд его жёлтых глаз — и опять всё скрыто. А Жулькина лапа продолжает своё дело.

Внезапно с земли, откуда-то из-под Лобанова горла, Жулька выкидывает ещё одну косточку. Движение молниеносно. Волчья лапа скрючена по-кошачьи. Кость взлетает и падает в стороне. Жулька плавно отодвигается от Лобана, отходит. Весёлый прыжок — и Жулька накрывает собой новую кость. И тут же оглядывается.

— Ай, Жулик! — слышит он.

Четвёртый восхищён, и это естественно. Жулька и сам относится к себе неплохо.

ЩЕНЯТА

У нас несчастье! Нашу Дельфу сбила машина!

Дельфа бежала, говорят, изо всех сил, а машина догнала и ударила сзади. Не понимаю, шофёр что, не видел собаку? Белую собаку, днём? Не мог же он нарочно — охотничью собаку, такую красавицу, сеттера! Да и вообще таких людей на свете нет, чтобы догоняли и сбивали собак!

Сгоряча Дельфа вбежала в сад и легла, а подняться больше не может. И позу не меняет: как свернулась, так и лежит.

Мама привела ветеринара. Я спряталась, чтобы не смотреть. Ветеринар определил, что у Дельфы перелом тазовой кости. Пусть лежит, трогать её нельзя.

Я сижу возле неё на корточках, и меня ужас берёт при виде её красных глаз. Только глазами она и двигает. Блюдце с молоком так и стоит, Дельфа не ест, не пьёт. Уж я-то знаю, какие у неё сейчас боли, я себе ломала руку. Как у неё мозжит внутри и всё разрывается от боли. А она молчит. Вот как надо терпеть…

— Папа, а если дождь?

Папа смотрит на небо. Он охотник, он знает приметы.

— Не будет дождя, — отвечает он.

— А если будет?

Теперь он смотрит мне в глаза, и я проглатываю слёзы. Когда я плачу, он перестаёт меня уважать.

— Пойдёт дождь — раскинем над Дельфой палатку. Но ей лучше на солнце, скорее выздоровеет.

— А у неё срастётся?

— Конечно, срастётся. Ещё пойду с ней на охоту, увидишь. И тебя возьму.

Я не отрываюсь от Дельфы. Когда я поправляю волосы или вытаскиваю изо рта травинку, она косится на мою руку своими воспалёнными глазами, и двигаются её жёлтые брови. Она боится, что я до неё дотронусь.

— Пойдём, ты только беспокоишь её. Мама звала обедать, ты слышала?

— Сейчас.

— Вставай, пойдём.

— Сейчас. Ты иди, я сейчас.

Папа уходит. Нос у Дельфы высох и стал серым. Наверное, у неё температура. А вот тут вот, сбоку, под такой гладкой, блестящей на солнце шерстью — какая тут сейчас невыносимая боль!

Приходит мама. Она садится рядом на траву. Посидела,

помолчала и говорит:

— Всё-таки ей хочется быть одной. Когда очень плохо, хочется быть одному, верно?

Я говорю:

— Когда я болею, то мне — нет. Мне лучше, если со мной посидят.

— А взрослым лучше, когда покой. Дельфа ведь взрослая.

Мама встаёт.

— Ты можешь ей помочь? — спрашивает она.

Я поднимаю голову:

— Как помочь?

И замечаю, какое у мамы бледное, расстроенное лицо.

— Тебе кажется, ты ей сейчас помогаешь? — спрашивает мама.

Я молчу.

— Тогда зачем же ты тут сидишь?

Мы идём к террасе. Мы идём между кустами чёрной смородины. Мама впереди, я за ней, я оглядываюсь — и вижу Рекса! Рекс протаскивает через щель в заборе своё толстое брюхо!

— Мама! Рекс!

Она успевает схватить меня за руку.

Этот трёхмесячный дурень Рекс всегда с ходу бросается на Дельфу. Этому дураку только бы повозиться.

— Пусти! — кричу я.

Мама не сводит глаз со щенка.

— Тише, — шепчет она, — он поймёт…

— Он сейчас кинется! — говорю я и заливаюсь слезами, дёргаю руку, потом гляжу, изумлённая…

Щенок бежит, болтаются длинные уши, вот заметил Дельфу, поскакал неуклюжим галопом. Он приближается к ней со спины, даже её больных глаз ему не видно. Подлетел. Она только скосила зрачки, и он с ходу, как, бывало, бросался на неё, плюхнулся на землю и ползёт к ней.

Издали, весь вытянувшись в струнку, высовывая длинный красный язык, он пытается лизнуть её в морду. Она смотрит мимо. Он опрокидывается перед ней животом кверху, вскакивает и подпрыгивает, виляет, лёжа на боку. И даже до сих пор, спустя многие годы, я вижу на солнечной траве ярко-рыжего щенка и молодое просиявшее мамино лицо…

ФИТИЛЬ

Кошка вывела котят в тёмном подполе избы. Они вылезали через продушины, играли на солнце, однако люди могли смотреть на них только издали. Малейший шорох — и вся тройка скрывалась в своём логове.

На зиму хозяева забивали продухи в фундаменте, чтобы от дождей и снега под избой не заводилась сырость. Стояла осень, хозяйская дочь с детьми собралась домой — она жила в городе. Перед отъездом пробовали выловить котят, но безуспешно. И городские отбыли, прихватив с собой кошку, уверенные, что без матери котята выйдут сами.

А котята, осиротев, стали ещё осторожнее. Старики хозяева не кормили их. Кое-кто из соседей подливал молока в консервную банку. Видели, как появляются котята, озираясь, принюхиваясь, и как лакают, насторожённые, готовые мгновенно исчезнуть.

Зачастили дожди, пора было заканчивать подготовку к зиме, а один ход под избой всё не могли законопатить. На котят началась облава. Выманивая их, ставили еду, сторожили у лаза. Мёрзли, чертыхались, кляли безмозглое зверьё, но продолжали охоту, и двоих удалось поймать.

Оставался последний, самый дикий. До сих пор никто не слышал его, теперь он начал кричать. Сутки напролёт, с редкими перерывами, неслось из-под избы пронзительное мяуканье. Иногда он высовывался — и его голос слушала вся улица.

Не только ребятишки — взрослые занятые люди заговорили о котёнке. Он досаждал своими воплями, а ни вытащить его, ни заставить замолчать было невозможно. Замуровать живую душу ни у кого не поднималась рука. И многие считали, что делать ничего не надо. Котёнок порченый, никакая сила его к людям не пригонит, а холод и одиночество обязательно скоро доконают.

Я жила по соседству. В ту зиму мне удалось вырваться из города, чтобы поработать в тишине; я уехала в Листвянку и поселилась у Шлыковых. У них имелась свободная комната, «парадная». Обычно она стояла пустая и в ней гремел репродуктор. Но если выключить радио, «парадная» хороша была для работы. Хороша, пока рядом не объявился тот оголтелый кот. Окна «парадной» выходили в сторону дома, под которым он жил.

Пришлось мне обойти соседей, просить, чтобы с завтрашнего дня его никто не кормил.

Котёнок весь день орал до хрипоты, однако уговор соблюдался. Но вечером, когда я шла из кино, вышмыгнула прямо

на меня из калитки согбенная старушечья фигурка. Я узнала нашу, шлыковскую бабку.

— Вы чего туда? — спросила я, разглядев у неё в руке пустую банку.

— Жрать ведь хочет, — виновато пояснила старуха.

Пришлось начинать сначала. На вторые сутки котёнок замолчал. В тот день вместо дождя повалил к вечеру снег. Потом ни дождя, ни снега — тишь.

Я соображала, сколько времени котёнок может обойтись без еды. Прислушивалась. Охота у меня была назначена на завтра, но кот почему-то молчал, а ночью, объявили по радио, ожидалось минус пять.

Наконец я не выдержала. Мелко нарезала сырое мясо. Оделась, замоталась платком.

Холодная пыль — не то дождик, не то мелкая крупка — леденила лицо. Далеко в глубь продушины я положила крошку мяса — по усам помазать. Столько же прилепила на краю, у самого выхода. Куски побольше бросила на землю. Пододвинула заготовленный кирпич — затыкать продух. И застыла на своём посту.

Ничего, ни звука не раздавалось под избой, а я чувствовала, что котёнок рядом. Не в дальних углах подвала — рядом. Уже и руки, которые не сообразила сразу спрятать в карманы, у меня закоченели, и через подошвы резиновых сапог начал проникать холод. Котёнок находился тут, живой, насторожённый, я его чувствовала, а положение не менялось.

Наконец едва уловимо ворохнулось у моих ног, и понеслось истерическое мяуканье. Что лежало внутри, котёнок, должно быть, слизнул, что на земле тоже разглядел. И человека он учуял. Слышно было, как он отбегал, с криком рыская под домом. Но запах, от которого котёнок ополоумел, шёл из одного места, и он возвращался к продушине. Я знала, что минута приближается, и в который-то раз мысленно отрабатывала движение: наклон — схватить кирпич, вдвинуть в дыру… А котёнок всё вопил, и голова его высовывалась из дыры и втягивалась как заводная.

И вот он выскочил. Кинулся было обратно — я успела заставить продух. Он метнулся, исчез. Я побежала, крадучись. Заглянула за угол. Котёнок сидел там, вжимаясь в стену, — шевелящееся смутное пятно. Я ринулась к нему, он обогнул дом. И я следом. Мы кружили, мы двадцать, может, тридцать раз обежали избу.

Котёнок взлетел на крыльцо. Раскинув руки, я надвигалась, и уже близко был одичало взъерошенный комок. Я упала на него, он прошипел мне в самое лицо и растворился во тьме.

Надо было унять дрожь в руках, остановиться и подумать. Отогнать бы его от дома. На акацию, что растёт у окна. Летом котята, бывало, забирались на куст, он этот куст знает.

И я отогнала. А как, какие применяла манёвры, не могла после вспомнить. Помнила, что под конец котёнок влез на толстую ветку, я медленно подошла, сняла его — и в руках очутился не кот, а мышь какая-то, настолько мелок оказался герой, взбаламутивший целую улицу.

У Шлыковых поднялись с постелей, будто серьёзное случилось. Котёнок, серый в тёмную полоску, не царапался, не вырывался — окаменел у меня на ладони. Лапы прижаты к белому животу, синие глаза не мигают. Лежит на спине. Тронули его пальцем — завалился на бок, как неживой. Попытались отогнуть лапы — они не поддаются. Будто судорога его схватила. Старик Шлыков отрезал мяса, поднёс к кошачьему носу — никакого впечатления.

— Сдохнет, фитиль, — сказал старик.

Жалея, начали гладить котёнка. И он вдруг расправился, встал. Ему гладили левый бок — он подавался влево, гладили с другой стороны подавался вправо. Он выгибал спину, еле удерживался под рукой на своих некрепких лапах и мурчал громко, неистово, булькал с присвистом, как закипевший самовар. Быстро же пробудилась в зверёныше вековая привычка к человеку!

Спустили его на пол, придвинули молоко, отступили — и словно подменили котёнка. Он затравленно огляделся, побежал, залез под диван, его там едва разыскали. И с трудом оторвали: он цеплялся за пружины, шипел. Посадили на колени, погладили — он поднялся, лёг, опять поднялся. Он переворачивался с боку на бок и на спину, лизал руку, которая его гладила, лизал самого себя и урчал, урчал.

Он вырос весёлым, кругломордым, с толстым и коротким, чуть подлиннее рысиного, хвостом. Когда ходят по комнате, он выслеживает, хоронясь за стульями, и нападает. Он балуется, но с ним шутки плохи: он глубоко вонзает когти. Его выгоняют на улицу, и он уходит далеко в лес, пропадает по нескольку дней. Однажды видели, как он схватил белку. Редкая собака обратит его в бегство; соседские псы знают его и остерегаются, чужим от него достаётся. У него густая шуба, и он не боится морозов.

БЕДА

На людной московской улице со мной случилась небольшая история. Я шла из школы домой, когда меня обогнала собака, рослая лайка с острыми ушами и круто завёрнутым на спину хвостом. Она бежала, волоча за собой длинный поводок.

Опередив меня, собака свернула к палатке. В палатке продают фрукты, и обычно у задней стены валяются пустые ящики. В тот раз они громоздились один на другом выше человеческого роста. Собака обнюхала нижний ящик, поднялась на задние лапы, и вся гора с грохотом рассыпалась.

— Ты что же делаешь! — крикнула я собаке.

Она живо подскочила ко мне, прыгнула, толкнув меня в грудь, и я увидела её раскосые весёлые глаза. «Да ладно тебе!» — всем своим видом сказала она и тут же бросилась бежать дальше вдоль тротуара, мелькнула в конце улицы, возле метро и затерялась среди людей.

Тогда только я сообразила, что её белая со светлыми жёлтыми пятнами шерсть заботливо промыта и вычесана и что у какого-то человека беда. Он ищет собаку, и я могла бы заявить о ней в собачий клуб, куда, наверное, он будет звонить…

А потом я вспоминала её часто. Что произошло между нами? Ведь она меня не знает, как же так точно и сразу она уловила мой тон? Какая лёгкость понимания! Какое доверие к чужим!

И я в тысячный раз жалела, что не схватила её за поводок.

ПЕСЕНКА САВОЯРА

Посвящается В. К.

Боюсь, что рассказ о Тишке, моём сурке, получится невесёлым. Хотелось бы написать о нём так, чтобы чтение доставляло одну радость — ведь смотреть на Тишку в самом деле удовольствие! Но мой сурок принадлежит не мне. Я старалась не думать об этом — почти год он прожил у меня, и даже на несколько часов уходя из дому, я по нему скучала. И он, вероятно, тоже. Когда, возвращаясь, я вставляла ключ в дверь, из комнаты раздавался взволнованный, тонкий вскрик — с лестницы казалось, будто пронзительно свистит птица. Не снимая пальто, я отпирала клетку, из неё торопливо выходил Тишка. Он вставал на задние лапы, тянулся ко мне, прижимая к своей груди кулачки, и бурчал ласково: «У, у, у, у, у, у, у…»

Я поднимала его, толстого, тяжёлого, он обрадованно покусывал меня за подбородок, старался лизнуть в губы, а успокоившись, разглядывал и пробовал на зубок пуговицы пальто. Очутившись на полу, он лишь теперь потягивался, зевал после долгого сна и вприскочку бежал за мной на кухню, приземистый, косолапый, как медвежонок. По дороге заскакивал в одно место — у него, как у чистоплотной кошки, имелось определённое место для определённых дел. А я пока отрезала кусок свежего чёрного хлеба, с обеих сторон поливала подсолнечным маслом — готовила любимую Тишкину еду. Он уже топтался у моих ног. Выпрямившись столбиком, он нетерпеливо переступал, поворачивался на месте — ни дать ни взять исполнял вальс. Его никто не учил, а он вальсировал. Не хотелось Тишку дрессировать, но если приложить немного усилий, он хорошо танцевал бы. И под музыку.

До Тиши я никогда не видела сурков. Только слыхала о них. В нашей квартире жил когда-то Валя, худенький мальчик с белыми мягкими волосами. К нему ходил Славик — крепыш, немного полноватый, смешливый и живой парнишка. У Вали было пианино, и часто они вдвоём что-то там подбирали, а я часами дожидалась у двери: им было по двенадцать лет, а мне — шесть. Помню, как один раз открылась дверь, выглянул Валя и сказал:

— Стоит. Пустим давай?

Славик ответил что-то из комнаты, оба рассмеялись. Мне велели влезть на диван. Валя сел за пианино. Ребята запели:

Из края в край вперёд иду,
И мой сурок со мною…
Под вечер кров себе найду,
И мой сурок со мною.

Не знаю, что именно поразило меня тогда и в певцах и в песне, но поразило так, что осталось в памяти навсегда. Валя потом погиб на фронте, а Слава, говорят, живёт в Москве — может быть, он прочтёт эти строчки, припомнит тот концерт. Много раз потом я слыхала её, беспечную и грустную песню Бетховена — песенку савояра.[1] И задумывалась, что это за зверь, к которому так привязывается человек, с которым бродит из края в край, зарабатывая на хлеб и делясь последним куском. Человек играет на шарманке, сурок танцует под музыку и вытаскивает билеты на счастье; вытаскивает не зубами, наверное рукой — теперь-то мне известно, какая у сурка ручка: он умеет сжимать в кулаке хлеб и, когда я его ношу, держится за мой палец.

…Тишка съедал хлеб, немного орехов или семечек, отгрызал яблока и втягивал в себя, словно макаронину, стрелку зелёного лука. Сытый, он не прочь поиграть. Он шёл в наступление, встав на дыбы, разинув узкий роток с мощными резцами: «У-у-у!»

Я толкала его, он мягко валился на спину, показывая заросший золотистой шерстью живот, щипался, похватывал небольно зубами, урчал, лепетал, перекатывался с боку на бок. Честное слово, с ним бывало весело, я смеялась до слёз — до того комичный был зверь! И как обидно, что никто, кроме меня, не мог этого видеть! Самое милое в Тише скрыто от посторонних. Он никогда не играл при чужих, он их боялся. Тишка поглядывал на гостей издали, сидел, уткнувшись в пол, приняв странную позу то ли задумчивости, то ли дремоты. Но когда пытались приблизиться, он удирал. Он признавал только меня. Правда, помнил и того человека, своего прежнего хозяина, который его принёс. Когда человек этот через полгода появился, сурок узнал его тотчас. Но баловался и нежничал Тишка только со мной.

Наевшись и поиграв, предоставленный самому себе, сурок брёл, глазея по сторонам, выискивая, чего бы такое поделать. Он

прекрасно знал, что делать можно, а что запрещено. Открывать стенной шкаф, влезать, вышвыривать обувь, сотворяя кавардак, — нельзя. И он останавливался перед шкафом, выжидал, косясь зорким чёрным глазом. Я молчала. Тогда он зубами подцеплял снизу дверцы, распахивал их…

— Ты что делаешь? Тебе кто позволил? Разве хорошие сурки так поступают? Так плохие сурки поступают, — говорила, говорила я бог знает что, потому что Тишку даже ругать было весело.

Тишка вываливался из шкафа, недовольно сощурясь, опустив повинную голову, ждал, когда утихнет гроза. Утихало — он направлялся в тот угол коридора, где всё ему дозволялось. Отодвигал чемодан, собирал в ком половик и втискивал, втрамбовывал половик в щель между чемоданом и стеной; приволакивал пылесос, приносил резиновые сапоги и среди этой неразберихи (неразбериха для нас — для него временный беспорядок строительства!) расхаживал неторопливо, осматривая, подправляя, — коренастый, крепкий, хозяйственный сурок-мужичок.

Наступал поздний час. Я ложилась. Тишка взбирался на тахту, пристраивался поближе, потеснее, подлезал под руку, укладывал голову мне на плечо. Я открывала книгу. Однажды зимой, помню, взвыла сирена; одна, другая пронеслись по улице пожарные машины. Мгновение — и сурок оказался на полу, под креслом. Он смотрел оттуда на меня, и тревожный свист, должно быть далеко слышный в родной Тишиной казахстанской степи, рвался из окна московского дома.

— Опасность! Прячься, народ! — кричал зверь, и было понятно, что кричал мне, потому что здесь его народ — это я.

Когда впервые я услыхала сигнал опасности и вбежала в комнату узнать, что случилось, то увидела влетевшую в окно синицу. Она перепархивала по книжным полкам, а Тишка не спускал с неё глаз. Он был взволнован, но запомнил, что явилась я по его сигналу. С тех пор, если ему надоедало в клетке (хотя у него там имелись осиновая доска, чтобы грызть, втиснутая между прутьями толкушка для картофеля, чтобы подбрасывать, кусок сосновой коры — тоже грызть), если он слышал мои шаги, он издавал свист. И как бы ни была занята, я спешила к нему — разве вытерпишь, когда зверь тебя зовёт!

…Ночь. Тишка засыпал, вздрагивая. У него двигались лапы, помаргивали веки, он причмокивал и вздыхал. Затем впадал в глубокий сон. Он больше не шевелился. Теперь гремите пушки, бейте барабаны — Тишка проснётся далеко не сразу, он спит «как сурок». И я откладывала книгу. Вот в эти минуты иногда приходило в голову, что Тиша принадлежит не мне. Наступит тёплое время, его заберёт хозяин. Я говорила себе, что тот человек — биолог, он любит зверей и умеет обращаться с ними. Что Тишка будет там бегать по траве. Рыть настоящую землю. Для него теперь оборудовали — не в комнате, на воле настоящее логово, где можно заснуть на зиму, а суркам полезны долгие спячки. Я твердила, что Тише у другого будет лучше, чем у меня…

Затихал за окном город. Пора было спать. Как там, в песне?

Мы здесь пробудем до утра,
И мой сурок со мною,
А завтра снова в путь пора…

Я гасила лампу. И ещё некоторое время слышала спокойное Тишкино дыхание.

ДЕТИ

Когда перед тобой море, а сзади скалы до небес, по которым могут взобраться только козы, а на узкой полоске берега ни души, кажется, будто ты первый человек, ступивший на эту землю. Ты её открыл…

Я лежу на чёрном песке, ищу ракушки. Докапываюсь до мокрого песка, где прыгают большие серые блохи. Передвигаюсь, собираю на другом месте. Начинает припекать плечи. Море будто ещё не проснулось — чуть дышит. Если приподняться, увидишь извилистую дорожку на белёсой воде. Будто прошёл кто-то ночью от берега до горизонта.

По воде зашлёпали вёсла. Отрываюсь от песка — а это дельфины! Два дельфина. Так близко, что видно, как блестят их чёрные спины и какие у них яркие белые животы.

Один выскочил из воды; и только упал, как выскочил второй. Этот как прянет вверх, да как животом об воду даст — только брызги да волны!

А ведь они умеют нырять аккуратно, я видела с парохода.

Сначала один взлетал, а другой, наверное, из моря глядел, насколько тот высоко прыгнет, и старался прыгнуть ещё выше. Потом мне показалось, что не в том дело, кто выше, а кто больше брызг поднимет. Дельфин упадёт — и пена с брызгами стеной встаёт. Другой животом плюхнется — так под ним море расступается и брызги до неба. И уже не по очереди, а всё быстрее, быстрее, и врозь, и вместе, и — шмяк!.. и — трах!.. — ни спин, ни животов, водоворот сплошной, словно с ума посходили. Толкаются даже. Или мне показалось? Как мальчишки!

И вмиг надоело им или они устали, — чинно уходят, удаляются от берега, плавно скользят и ныряют покатые спины. Я смотрю дельфинам вслед, озадаченная. Вот ушли в глубину — и нет их. Только голубая дорожка по-прежнему лежит на парной воде…

Кто сильнее брызнет — так ведь только люди могут играть. Только человеческие дети?

Много лет я ломала голову над тем, почему дельфины вели себя тогда совершенно как люди.

И только став взрослой, узнала, что весь мир ломает голову над этой загадкой…

КТО ТЫ?

А в то утро я побежала на пляж, чтобы рассказать про дельфинов маме.

Среди валунов у берега есть длинная плоская плита, на которой хорошо лежать. Я свернула, прыгая с валуна на валун, и растянулась на плите. Она уже тёплая. У самых моих глаз, между камней, — маленькая прозрачная лагуна. Вода в ней тихонько вздымается и опускается. На песчаном дне лежит солнце.

В лагуне юркие мальки теребят мёртвого краба. Малёк рванул, оторвал кус, отплыл, съел. Круто повернулся, возвращается. Опять рванул энергично, проглотил. И другие дёргают, растаскивают краба.

Из-под камня, на котором я лежу, кто-то высунулся. Изогнулся — не боком, как это делают рыбы, а спиной — и прямо глаза в глаза уставился снизу.

Нас разделяет тонкая плёнка воды. Неизвестное существо так близко, что я вижу внимательные зрачки. Поднялась и тихо опустилась вода в лагуне. Гибкое чёрное тело попятилось под камень, и — никого. Только брошенный краб колышется на дне…

Постой, кто это? Он так приковал меня, что, кроме зрачков, ничего не успела запомнить. Кажется, красное пятнышко где-то у него сбоку. Как он разумно смотрел! Он и сейчас подо мною, наверное. Ни протянуть руку, ни ступить в воду и заглянуть под камень я не смею. Мне становится не по себе.

Бегу на пляж. Мама лежит и читает. Сажусь рядом. Её загорелое плечо лоснится на солнце.

— Ты что? — спрашивает она.

Я молчу.

— Случилось что-нибудь?

Я мотнула головой. Не умею ничего объяснить.

Мы купаемся, и нам не приходит в голову, что, переступая кромку воды, мы переступаем границу другого мира, где живут таинственные существа, которые по-человечески смотрят… Быть может, хотят с нами как-то сблизиться, понять нас. Я уверена, они могут понять, раз их дети затевают такие человеческие игры…

Море зашевелилось, косые мелкие волны покатились на берег. За ними скачет собака. Она припадает на грудь, хватает волну, и пена тает у неё в зубах. Собака лает, оглядывается, прыгает к другому пенистому гребешку, но во рту опять ничего нет.

И возбуждённо, весело, с недоумением ловит новую волну.

СЫНОК

Он родился два месяца назад, но уже многое понимал. Дельфины вообще очень умные, и дети у них рано становятся умными. Он любил мать и боялся свою тётку. Что он, не знает, как надо жить? Он всё знает. А тётка следит за ним сердитыми глазами и то и дело командует:

— Вверх! Быстро!

Когда он был совсем маленький, мать или тётка подплывали под него и спинами выталкивали наружу, чтобы он сделал глоток воздуха. Но теперь-то он соображает сам!..

Последнюю взбучку тётка задала ему только что. Он сосал молоко и, когда насытился, выпустил немного изо рта.

У дельфинов молоко густое, как сливочное масло, оно не расплывается, а остаётся в воде шариком.

Дельфинёнок выпустил шарик, наподдал его носом и устремился за ним. Нагнал, хотел ещё пихнуть, но промазал, проплыл выше. Сливочный шарик заскользил по его животу. Дельфинёнку стало так щекотно, что он замахал плавниками, забил хвостом и вдруг замер, не понимая, что с ним случилось.

А он висел вниз головой!

Откуда-то из глубины на него надвинулась огромная голова, и тётка проскрипела:

— Вверх!

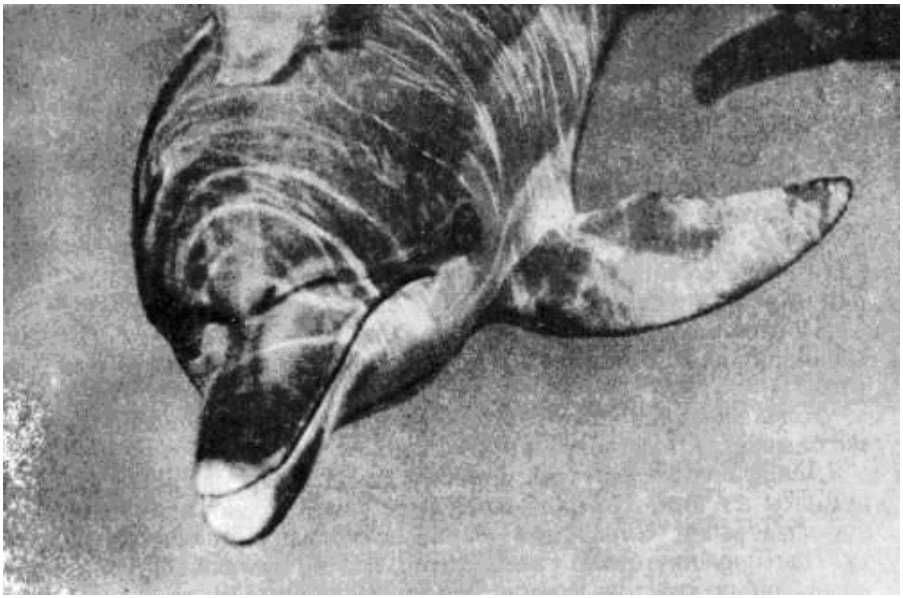
Он и сам чувствовал, что ещё мгновение, он не выдержит и хлебнёт воды. Он помчался, чтобы поскорее выставить из моря нос.

У него было два носа. Один, которым оканчивалось рыльце, не имел ноздрей. Второй, которым он дышал, назывался дыхало и был даже не носом, а лишь ноздрёй, дырочкой, находившейся на макушке.

У дельфинов она помещается на макушке — так им удобнее. В воде дырочка закрывается, а когда дельфин всплывает — она открывается.

Дельфинёнок выставил макушку, сделал выдох, набрал чистого воздуха. Он высунулся побольше и огляделся. Всё кругом было синее и золотое. Синее небо с золотым солнцем и синее, позолоченное море.

Дельфинёнку захотелось увидеть ещё больше. Его хвост затрепетал, и тело, как свечка, встало над водой.



Чайка скользнула с высоты на распластанных крыльях. Дельфинёнок испугался и плюхнулся, подняв брызги. Он ещё не встречался с чайкой и с любопытством следил за ней.

Она села неподалёку на воду. Снизу ему были видны её лапы с коготками и серебряное брюшко. Она тоже зорко смотрела на него сквозь воду. Над ней закружилась вторая птица. Чайка задрала голову. Дельфинёнок подскочил, боднул её лбом, и она взвилась как ужаленная, вспенив крыльями воду.

После он поел и заснул. Он лежал возле матери. Когда поднималась на воздух она, не просыпаясь, с закрытыми глазами, поднимался и он. Старая тётка расположилась тут же. Она болтала без умолку, поучала маму. Мама задумчиво слушала. Дельфины не читают никаких книг и про жизнь узнают от старших.

У дельфинов есть свой язык, и, конечно, каждый имеет своё имя. И у Дельфинёнка оно было. Если произнести его на дельфиньем языке, люди ничего не поймут. Они услышат странный щелчок с присвистом, который неизвестно что означает. Ведь ещё никто не изучил дельфинью речь. Несомненно, щелчок с присвистом можно перевести на человеческий язык, и тогда получится «Серёжа». Или «Федя».

И у его мамы было имя. Если кто-нибудь звал её, выходило так, будто на кипящем чайнике подпрыгивает крышка:

— Тр! Тр! Тр!

Людям показался бы резким этот звук, но для дельфиньего уха он был приятным, и возможно, что прыгающая крышка

означала не что иное, как нежное имя «Мария».

Когда Дельфинёнок проснулся, он увидел другого дельфинёнка — тот гнался за длинной рыбой-иглой. Дельфины, даже маленькие, двигаются поразительно быстро. Они самые лучшие пловцы в мире. И конечно, тот малыш поймал рыбу. За хвост. А наш схватил её за голову. И они стали тянуть бедную рыбу каждый в свою сторону. Но тут к ним приблизился ещё дельфинёнок, постарше. Это была дельфинёнок-девочка.

Если бы на них посмотрели люди, они не смогли бы разобрать, какая разница между ними тремя — разве что один покрупнее. У всех были тёмные спины, ослепительно белые животы и выпуклый лоб. А между тем рыльце Дельфинёнка было чуть короче, шире и имело наивное, доверчивое выражение. Физиономия того, что держал рыбу за хвост, была острее, зрачки шныряли по сторонам, и всякому сразу становилось ясно, что его мама ещё хлебнёт с ним горя.

А дельфинёнок-девочка обещала превратиться в настоящую красавицу. Она и теперь была хороша со своими особенно ровными зубками и тонким, сильно вытянутым стеблем хвоста с бантом-плавником на конце. Подбородок у неё был выдвинут вперёд, уголки рта постоянно приподняты, и это придавало ей смелое и доброе выражение.

Она приблизилась к дельфинятам, дравшимся из-за рыбины, и уверенно взялась за рыбу-иглу посередине. Но в эту минуту всем троим понадобился воздух. С рыбой во рту они всплыли, погрузились обратно.

Дельфинёнок-девочка только повела очами в сторону одного, другого — и оба робко выпустили иглу.

Держа добычу, дельфинёнок-девочка спокойно двинулась прочь. Дельфиний хвост машет не вправо и влево, как у рыб, а вверх и вниз. Она плыла у самой поверхности и громко пришлёпывала хвостом по воде, что у дельфинов означает хорошее настроение.

Шли дни. Дельфинёнок рос, и уже его умишко работал вовсю. Однажды в расщелине скалы он заметил угря. Он попытался достать рыбу зубами, но щель была узка. Тогда он быстро зашевелил плавниками. Вода забурлила, закружилась: он хотел, чтобы угря вынесло течением. Однако тот залез ещё глубже.

Дельфинёнок остановился и стал думать. Потом всплыл, набрал побольше воздуха и начал стремительно погружаться. Он слышал, как окликает его мать, но шёл и шёл вниз. Уже он различал дно, покрытое лесом мохнатых водорослей, которые сильно колыхались, и величественных рыб, скользящих над этим

лесом.

Летя во всю мочь, Дельфинёнок лихорадочно шарил взглядом. Он нашёл то, что искал: среди рыб сновал колючий морской ёрш. Дельфинёнок ухватил ерша, метнулся кверху…

С ершом во рту он направился к скале. Угорь всё сидел там. Дельфинёнок запихнул в расщелину колючего ерша. Угорь не вытерпел, выплыл, извиваясь по-змеиному. Дельфинёнок поймал его. И тут же отпустил. Он вовсе не собирался есть угря. Он выковыривал упрямую рыбину просто так — из озорства.

Между тем недаром раскачивались водоросли на дне: в море начиналось волнение. Дельфины всегда знают заранее, когда приближается волнение, и умеют заранее определить его силу.

Надвигался шторм.

Стая повернула в открытое море, подальше от берегов, — во время бури часто случается, что дельфина калечит о камень или выбрасывает на берег, где без воды он погибает.

Но и в открытом море дельфины не успокоились. Они тревожно переговаривались, следя за своими малышами; как это часто бывает, дети не разделяли беспокойства взрослых. Что плохого может случиться, если старшие рядом?

И чем выше вздымались волны, тем веселее становилось дельфинятам. Не всем, конечно. Некоторые притихли, со страхом жались ко взрослым.

А Дельфинёнок именно в эту минуту изобрёл великолепную игру. Он взбирался на верхушку вала, вместе с водой низвергался вниз, в пропасть, чтобы взлететь опять и снова скатиться с высоты. Когда он оказывался на валу, то видел далеко вокруг потемневшее море с шипящими гребешками. А когда падал, у него обрывалось сердце. Он еле удерживался, чтобы не завизжать!

Внезапно он разглядел, что приближается земля. А он уже понимал, что такое берег для дельфина во время шторма.

Дельфинёнок хотел плыть обратно, но не тут-то было. Его потащило к берегу. Он начал захлёбываться. Он не успевал как следует вздохнуть и бился, и рвался вверх: как и человек, он ие мог жить без воздуха.

Его волокло к земле. Он больше не сопротивлялся.

Вокруг вились смутные тени. Это стая следовала за своим детёнышем, не желая оставлять его в беде. Но что могла поделать стая дельфинов вблизи берега, где вал встаёт, неся в себе обеспамятевшую рыбу, водоросли, камни, и с рёвом рушится, сотрясая землю, скрежеща галькой!

Дельфинёнка втянуло в узкие ворота между двумя скалами. Он очутился в бухте.

На берегу сидели двое — мужчина и мальчик. Они смотрели,

как вздымается и опускается вода в бухте и как с той стороны скал, отгородивших бухту, ревёт море, белыми лепёшками взлетает пена и скалы угрожающе гудят.

Вода поднялась, на берег вынесло какой-то предмет. И сразу же поверхность бухты покрылась чёрными гребнями и покатыми блестящими спинами. Они появлялись и ускользали, округлые, будто часть огромных колёс, вертящихся в глубине моря.

Люди подошли к странному морскому существу. Оно лежало на боку. У него были мягкие плавнички и тупое детское рыльце.

— Он мёртвый, — сказал мальчик и, присев на корточки, провёл пальцем по гладкой дельфиньей коже.

Но стоило мальчику дотронуться, как Дельфинёнок изогнул хвост, оттопырил грудной плавник, завозился, силясь перевернуться на живот.

Он издал тонкий, прерывистый свист, и люди отскочили, потому что из моря вылетел большой, красивый дельфин и тяжело упал рядом с маленьким.

Это мать кинулась к сыну.

— И! И! И! И! И! — взывал Дельфинёнок, и один за другим из моря выбросились ещё три дельфина.

Остальные волновались, высовывались из воды, подпрыгивали, пытаясь разглядеть, что творится на берегу, и бухта так и кипела.

Мужчина скинул плащ. Вдвоём с мальчиком они перекатили на плащ большого дельфина и поволокли к воде. Оставили его в море, побежали за вторым. Но первый вылетел на берег снова, прямо к маленькому, который продолжал свистеть. Даже рёв моря за скалами не мог заглушить этот пронзительный, жалобный, хватающий за душу звук.

— Они посходили с ума! — с отчаянием крикнул мальчик, когда и второй дельфин выпрыгнул обратно на берег.

Мужчина опустился на колени возле Дельфинёнка.

— Нужно начинать с малыша, — сказал он, поднимаясь с Дельфинёнком на руках и движением головы откидывая со лба мокрые волосы.

И понёс Дельфинёнка к морю. Он опустил его наполовину в воду и держал так, следя, чтобы вода не попала в дыхало на макушке. Он ждал, когда Дельфинёнок наберётся сил, чтобы плыть. И в то же время глядел, как другие люди, прибежавшие к бухте, перетаскивают в море остальных взрослых дельфинов.

…Море затихало. У берегов оно ещё хранило неприветливый вид, и стая торопилась к горизонту.

Дельфинёнок чувствовал себя превосходно. А его мать сильно ушиблась о камень на берегу, её с обеих сторон поддерживали

дельфины.

И тётка выбрасывалась за Дельфинёнком два раза, только она ничуть не ушиблась. Уж теперь-то она не спускала с него глаз!

Он виновато косился на взрослых, которые молча рассекали воду вокруг, работал хвостом, плавниками, на теле у него двигалась кожа — так он старался!

Как назло, он увидел под собой небольшую черепашку. Она несла медузу. И хотя Дельфинёнок не ел медуз, он рванулся к черепахе, выдернул у неё медузу. Тётка не успела глазом моргнуть, как он уже вернулся. Пристроился возле верхнего материнского плавника, как полагается воспитанному дельфинёнку. Потихоньку выплюнул медузу…

А стая уходила всё дальше от опасных берегов. И наконец перешла черту, за которой стоит синяя вода и на синей воде качаются золотые солнечные рыбы.

АГАША

Мой первый сурок Тиша принадлежал другому человеку, и его пришлось отдать. Тишка признавал только меня. При мне он веселился и баловался, чужих боялся, и часто я задумывалась над тем, как он будет жить у настоящего хозяина.

К своему хозяину Тиша относился суховато, и когда его забрали, мне запретили навещать его. Тишка должен забыть меня.

Недели через две я всё-таки отправилась в дачный посёлок, куда увезли Тишку. На калитке висел замок. Дом обнесён глухим забором.

Я увидела сурка в щель. Он разделывался в клетке с ящиком, который служил гнездом, и толстые доски трещали у него на зубах.

— Тиша, — сказала я.

Он прислушался. Я ещё раз сказала:

— Тиша!

Он пронзительно вскрикнул, и этот сигнал тревоги и волнения передался мне, и я полезла на забор, но забор был высоким, без перекладин, даже подпрыгивая, я не могла уцепиться за верхний край. Я стала обходить проклятый забор, разделявший нас, искала место пониже, какой-нибудь сучок, гвоздь, искала камень — я могла в ту минуту подтащить, кажется, утёс, но не было ничего. А изнутри кричал и кричал, звал мой зверь…

Я дала себе зарок никогда больше не заводить животных.

Но довольно скоро мне рассказали, что у одного знакомого живёт маленький сурок — кажется, детёныш. Мой знакомый — человек добрый, но безалаберный, животных никогда не держал, и как он ухаживает за сурком, я не могла себе представить. Я позвонила по телефону.

— Бога ради, приезжайте! — сразу сказал мой знакомый. — Мне страшно нужны советы!

Так я увидела Агашу. Она оказалась молоденькой сурчихой, совершенно голой, голой как коленка. Но такое уж существо сурок, что даже и без меха он привлекателен — ребячески пухлый, с гладкой чистой кожей красивого дымчатого цвета.

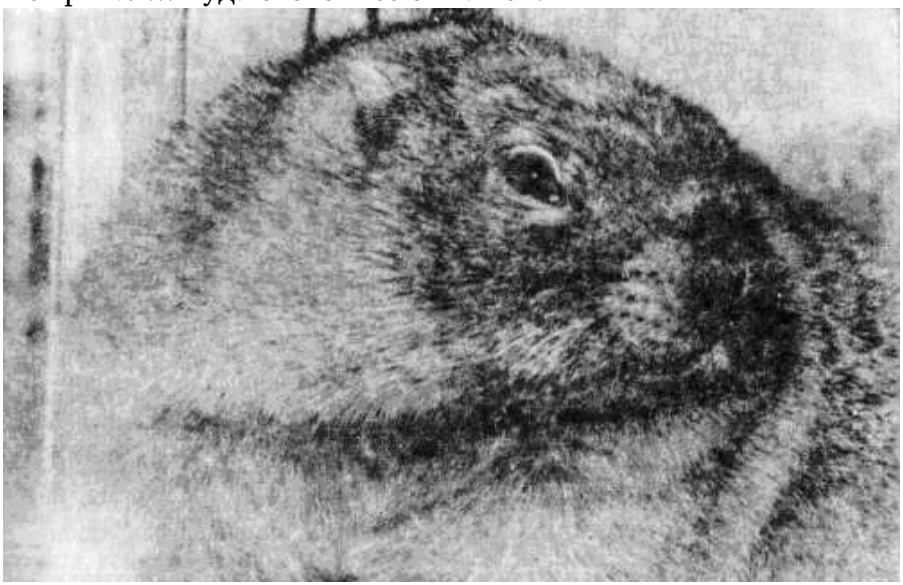
У Агаши был авитаминоз.

Начались ежедневные телефонные переговоры. Стояла зима, а сурку нужна зелень — укроп, лук, петрушка. Для этого надо идти на рынок, а хозяину вечно некогда. Он любил Агашу, но я уж говорила, что человек он безалаберный. Кончилось тем, что Агаша переселилась ко мне. Но я помнила тот забор. Для чего

давать себе волю, так привязываться к животному, так мучаться потом? Нет уж, с меня хватит.

Агаша обросла светлой пушистой шерстью, и стало заметно, как она не похожа на Тишку. У Тиши было грубоватое мужское лицо, у Агаши черты мелкие, глаза большие, кроткие. И характер оказался другой. Тиша при посторонних бывал угрюмым, только оставаясь со мной он баловался и нежничал, и всей его прелести никто, кроме меня, не знал. Агаша никогда не баловалась и не играла. Зато она любила, когда появлялись гости, и к каждому шла на руки.

Меня Агаша особенно не выделяла. Я уходила — она ложилась спать, я вернусь — она пробуждается, иногда и глаз не откроет, только пробормочет коротко и спит дальше. Тишка, бывало, томился без меня. Стоило вставить в двери ключ, как он уже кричал… Куда спокойнее с Агашей!



На лето у меня была путёвка в подмосковный дом отдыха «Берёзовая роща». Я решила съездить туда, поискать, нельзя ли поселить сурчиху где-нибудь поблизости. Нашлись люди, которые держали кроликов. Клетки с кроликами стояли в саду на дощатых высоких стеллажах, под навесом. Мне разрешили поставить здесь ещё одну клетку. И я с Агашей переехала за город.

Агаша выросла в московской квартире, не помнила ни птиц, ни деревьев, и сначала всё страшило её. Покажется ли хозяйский щенок, пролетит ли синица, ветер пробежит по кронам деревьев — Агаша пугается. Она издаёт режущий уши свист, который разносится далеко вокруг. Думаю, это не доставляло удовольствия хозяевам, особенно самому хозяину, человеку

ворчливому и, как я скоро заметила, сильно пьющему. Но они пока молчали. Зато отдыхающие непременно разыскивали меня и говорили:

— Идите скорей, там Агаша свистит на всю улицу!

Я спешила к ней, беспокоясь, что скоро меня попросят отсюда и придётся возвращаться в душный город.

Мне хотелось, чтобы сурчиха побегала по земле, но когда я спустила её с рук, она потеряла голову, метнулась, и я только потому поймала её, что она не успела протиснуться под забором.

Гулять приходилось в нежилой сторожке. Там, в запущенной комнате, имелось низкое окно, два расшатанных табурета и стол, заваленный тряпьём. Помещение достаточно просторное, чтобы Агаше побегать, а уж тряпьё для сурка — находка. Сурки любят спать мягко, и рваные детские майки, рубашки, рукава от вельветовой куртки — незаменимая подстилка для гнезда.

Я приносила Агашу в каморку, закрывала дверь, приставляла к столу табурет, и она вскарабкивалась на табурет, с табурета на стол, заталкивала в рот тряпку, подбирая концы, чтобы не мешались под ногами, спрыгивала и неслась в дальний угол. Перетаскав туда ворох, Агаша принималась за другое. Ловко отпирала дверцу давно нетопленной печки и залезала в неё. Задними ногами вышвыривала какие-то коробки, стружки, мятые газеты, наконец появлялась сама. Она пятилась из печки, повисала и осторожно сползала на животе, и её растопыренные ноги с чёрными узенькими ступнями болтались в воздухе, нащупывая пол.

Она принималась носить в угол хлам из печки, захватывая по дороге траву и ветки, которые я для неё приготовила. А я тем временем сидела у окошка, колола орехи, раскладывала по кормушкам разную снедь, чтобы потом оставить в клетке, или смотрела на Агашу и вспоминала Тишку. Если Агаше случится когда-нибудь попасть в другие руки, полюбят её сразу, спокойно ей будет так же, как и со мной, а у меня не будет болеть сердце.

И я была довольна, что сурчиха деятельна, здорова, во мне не нуждается и особой тонкости отношений у нас нет.

Между тем хозяйка сада, где стояла клетка, не раз уже давала понять, что сурок — животное беспокойное. Вот кролики — другое дело. Кроликов не видно, не слышно, а сурок гремит в клетке, грызёт, надоедает свистом. Заговоришь с ним — он замолкает. Уйдёшь — опять крик. И это действует на нервы.

Прогулки по комнате продолжались. Однажды я заметила, что Агаше надоели обычные занятия, она слоняется в поисках нового дела. Я отодвинула от стола табурет и на самый край — чтобы виднелась снизу — положила на стол её любимую рваную

варежку. А сама отошла, села у окна.

Агаша сразу застыла, всматриваясь, соображая. Потом нетерпеливо затопталась на задних лапах. Передние она протягивала вверх, сжимала в кулачки, растопыривала и опять сжимала, и было видно, до чего ей хочется достать варежку.

«Попроси — я помогу», — мысленно сказала я. И сразу одёрнула себя: да разве она обо мне вспомнит! Это не Тишка. И ещё раз одернула: сурки ведь и не способны на такую сообразительность.

Но только это у меня промелькнуло, как Агаша опустилась на все лапы и побежала ко мне. Немного не добежав, она вытянула голову, озабоченно сказала мне: «У, у, у!» — и кинулась обратно.

Я тотчас пошла к столу, вскочила и пошла, а она спешила туда же, путаясь у меня в ногах. Мы действовали до странности согласованно и быстро. Я встала на одно колено, Агаша вскарабкалась на моё колено и на стол, запихала в рот варежку «Случайность, — ошеломлённо думала я, — только случайность».

Агаша помедлила, прыгнула прямо со стола, ударившись о пол зубами, и вихрем понеслась с варежкой в угол. Я положила вторую варежку и ждала, и опять Агаша бежала ко мне, звала, путалась в ногах, взбиралась на стол…

На другой день после завтрака я отправилась не на пляж, а к ней. «Неужели у себя в стае, — думала я по дороге, — она вот так обратилась бы к другому сурку, а он пошёл бы с ней и помог?» Я читала, как лисица бросилась однажды к человеку, спасаясь от погони. Но тут не смерть грозит, тут не паника, при которой совершают невероятное, а именно потрясшая меня обыденность, как если бы мне сказали: «Слушай, ты повыше ростом, достань вон ту вещь».

Я боялась, что Агаша забудет вчерашнее, но вчерашнее повторилось… И мне мало показалось этого, захотелось стать ещё ближе, чего-то посерьёзнее захотелось, поважнее, и я спустилась с высоты своего неудобного роста и села на пол.

Села в том углу, где она складывала своё добро. Когда отодвигала бумажки и тряпки, она протестующе взвизгнула, ударила меня по руке когтистой лапой. Но я всё-таки вторглась, подтянула Агашу к себе, недовольную, раздражённую, и вдохнула сурчиный запах, напомнивший о Тише.

Я придерживала её под мышки. Лапы оставались свободными, она могла оцарапать мне лицо, и я наклонилась, предпочитая подставить под её лапы темя. Агаша сердито таращилась в упор.

Не зная, как расположить её к себе, я по какому-то наитию зубами слегка сжала ей верхнюю губу. И вдруг под моими ладонями перестали нервно напрягаться её мышцы, и Агаша

закрыла глаза. Я куснула ещё и остановилась. Она посмотрела. Своими чудовищными резцами, способными крошить доски, взялась за мою верхнюю губу. Я зажмурилась. Она осторожно покусала. Когда она переставала, начинала я, а она молчала, не шевелясь. Я чувствовала на зубах её жёстко торчащие усы, шёрстку между ними и уже определённо знала, что приоткрылось мне сокровенное, звериный знак симпатии, быть может доверия, родственности…

Я начала проводить с Агашей много времени, большую часть дня. Меня уже не оставляла мысль о её благополучии, о том, как она перенесёт зиму. Ей нужна земля. В земле содержатся всякие соли, минеральные вещества. Чего-то Агаше не хватает, не случайно она колупает печку, ест извёстку и сухую глину. Я принялась носить ей землю, песок, свежую глину, куски свежего дёрна с разнообразной травой — с клевером, мышиным горошком, одуванчиком, со стеблями и цветами иван-чая, рвала акацию. И подметала в сторожке каждый вечер перед уходом, чтобы не придрался хозяин. Всё чаще, возвращаясь в дом отдыха, беспокоилась, как бы он не обидел Агашу, этот самодур и пьяница, которого боялись жена и уехавшие в пионерлагерь дети.

Хмурым ветреным утром в саду встретилась хозяйка. Смущённо, но решительно она сказала, чтобы я забирала сурка. Сама бы она ничего, но муж ругается и что ни день, то у них скандалы.

Мы стояли у клетки. Она говорила вполголоса, потому что её муж, с утра подвыпивший, сидел неподалёку на траве. Быстро темнело, казалось, идёт буря. Кролики в сырых неубранных ящиках, затянутых сеткой, вели себя так тихо, будто и они опасались неприятностей.

Я открыла дверцу. Агаша полезла ко мне, но тут же вздрогнула: обломилась и рухнула в малинник ветка.

Хозяин поднимался, перехватывая руками по стволу берёзы, жена затравленно следила за ним. У неё были землистые щёки и спёкшиеся губы измученного человека.

Начинался ливень. Хозяйка побежала к дому.

В сторожке стояли сумерки. Я заперла дверь на засов, спустила Агашу. Посреди комнаты она с тревогой прислушивалась, как молотит по крыше. Я тихо окликнула её:

— Агаша!

Она косолапо шагнула, я взяла её на руки, села у окна.

Перед окном тянулись провода. По одному, низко обвисшему, изъеденному ржавчиной проводу бежала, обрывалась свинцовая капля. Вот полетела, следом натекает, копится другая, и опять с неприятным чувством ждёшь.

Агаша сидела неподвижно. Я нагнулась, чтобы узнать, куда она уставилась, а она подняла глаза, посмотрела на меня серьёзно…

Оказалось, она тоже следила за каплей. С верхнего угла окошка вела взглядом вдоль провода, ждала и косилась на широкий лист крапивы, куда капля должна упасть.

Я оперлась подбородком на тёплую Агашину голову, глубоко вобрала запах её меха.

Так мы сидели, слушая, как затихает дождь, и переезд в тридцатиградусную жару в город, и путёвка, использованная наполовину, — всё было пустяком и не имело теперь значения.

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ

— Пойми, — сказал Тарик, — я никогда не уезжал в такой панике.

— Да понимаю, — сказала я, — но как ты себе представляешь? Чтобы я каждый день ездила, да копалась до ночи, да обратно, а утром мне работать?

— Не обязательно каждый день. Володька же остаётся. Если он будет знать, что ты можешь приехать, — это одно. А без контроля сама знаешь… Мику с Фенькой я забираю, так что медведей не будет. Собаки едут все — этих тоже не будет.

— А корм?

— Ты видела, где у меня рыба и мясо хранятся. И овощи. Овощи обязательно мыть. Морковь вдоль нарезать, свеклу — помельче, у косулёнка рот узкий. Серёже рыбу тоже мыть…

— О Серёже можешь не рассказывать. Волкам по два кило?

— Обязательно. Следи, чтобы свою норму каждый получал. А в общем, слушай. Ничего не надо. Последи, чтоб Володька… Теперь насчёт ключей… Алло, ты дома? Я перезвоню, тут телефон нужен.

Звонок.

— Это я опять. В общем, ты Володьку знаешь. Можно на него надеяться? Так что приглядывайся, чего там, в клетках.

— Да ладно, ну. Поняла же.

— Да нет, ты слушай. Еще не всё ты поняла…

* * *

В детстве он рисовал, лепил, резал по дереву. Был принят в Суриковское училище, его прочили в скульпторы. У него был ещё и абсолютный слух, и голос, его учили музыке — как знать, он может вырасти пианистом.

Кажется, будущее определено: человек родился с призванием к искусству. Родители могут не волноваться за своего талантливого сына. Раздражало только одно — Тарик много времени тратил на пустяки.

Во втором классе он вздумал завести головастиков. В большом тазу устроил песчаные отмели, илистые топи; там росло, плавало и ползало то же, что растёт и водится вместе с головастиками в природе.

Из мелочи, из чепуховых козявок они вымахали чуть ли не с грецкий орех, шустрый орех с хвостом. У них появились лапки.

Тарик подумывал о другом жилье для них, со стенками повыше. Как обставить новое жильё, какая понадобится еда, где её брать — великое множество забот ему предстояло!

Утром, соскучившись у пианино, Тарик вышел на балкон и запустил руки в таз. Сдвинув брови, очень серьёзный, он чистил, подправлял, благоустраивал — он работал. И не слышал, как подошла мать.

Она выхватила таз у него из-под носа. Рывком подняла тяжёлый таз и выплеснула головастиков на мостовую с четвёртого этажа.

Тарик так и остался сидеть на корточках. С его рук капала вода. Запрокинув голову, он не мигая смотрел матери в лицо… Прошло много лет, а она до сих пор помнит тяжёлый взгляд восьмилетнего сына.

Но воспитание продолжалось в том же духе. У Тарика жила белая мышь. Кто-то обрубил ей хвост, и звали её Куцая. Много раз Тарик держал белых мышей, но Куцая оказалась особенной. Она отличала шаги и голос хозяина, издалека чувствовала его приближение, а такими способностями обладает не всякая мышь.

…Он открывает клетку. Куцая спрыгивает на подоконник, суетится на краю, пока Тарик не подставит ей ладонь. Она ныряет в рукав, и на плече Тарик чувствует тепло её шёрстки. Цепляясь коготками за кожу на его груди, она спускается за пазуху, и он смеётся от щекотки. У Тарика под рубашкой мышь укладывается спать. Теперь перепиливайте его тупой пилой, бубните нотации хоть до ночи — он неуязвим. Он не один. При нём собственный карманный зверь, портативный зверь. Зверь — комик от природы; стоит только взглянуть, как эта мышь моется или делает важное дело — капает. Капает, чистёха, только в одно место — в пепельницу.

— Тарик, сложи ноты. Сколько раз тебе говорили — убирай за собой ноты!

Тарик не слышит: он трясётся от смеха. Куцая капает серьёзно, сосредоточенно, надо видеть полную глубокой мысли мышиную физиономию в эту минуту!

Летом Тарика повезли на юг. Взрослые не разрешали, но он всё-таки взял Куцую с собой. Однажды, вернувшись с пляжа, он нашёл клетку пустой. Дверка была приоткрыта.

— Ты забыл её запереть, — сказала мать. Но Тарик отлично помнил, что запер клетку. Ещё бы! Он никогда не видел такого количества кошек, как здесь. Это были какие-то кошачьи джунгли.

Тарик почти не искал её. Где искать? Он только, сжимая зубы, отгонял, отталкивал от себя жуткую картину: кошка играет с

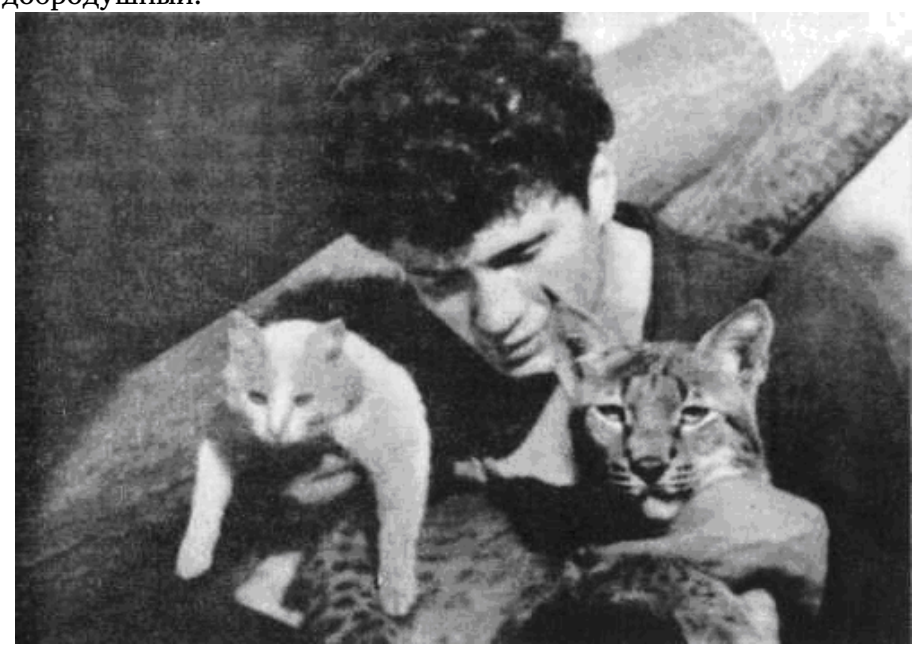
белой мышью.

В Москве, чтобы утешился, ему купили аквариум. Но и за аквариум ругали — как можно потратить вечер на рыб! Он подобрал на улице котёнка стали ругать за котёнка.

Тарик срывал с вешалки пальто, подхватывал котёнка и отправлялся спать на чердак. Он ложился там на пол, засовывал руку за пазуху, к котёнку, и засыпал. А утром отправлялся не в училище, а в Зоопарк. Теперь вините его, взрослые, за то, что он прогуливает уроки, что стоит перед клеткой и зарисовывает львицу.

Он так часто бывает в Зоопарке, что многие звери узнают его. Львица Рита встаёт, когда Тарик её подзывает. У Риты чуть великовата голова, но в том-то и дело. У неё крупные черты: большой лоб, большие щёки, ясные большие глаза. Смотрит открыто, смело. Такой зверь может защитить. Кто-нибудь начнёт приставать: «Рита, ко мне!» — и возле Тарика вырастает львица…

А к вечеру приходилось возвращаться домой. Вот Тарик идёт по двору своей походочкой — медленный крен влево, крен вправо, тяжёлые плечи опущены, взгляд исподлобья, но добродушный.



Девчонки, прыгающие через верёвку, кричат: «Тарик, здравствуй!» Большие ребята стоят кучкой: «Привет, Тарик! Тарик, здорово!» А один бежит навстречу с авоськой. На ходу шлёпнул Тарика по плечу, болезненно сморщился, затряс кистью, делая вид, что ушибся о железные мускулы.

Женщины на скамейке замолкают. Тарик здоровается, они провожают его доброжелательным взглядом. Они знают, что у парня неприятности дома и в школе. Но вот он уважает старших. И у него есть свой интерес в жизни. Попробуй кто-нибудь при нём бросить камень в кошку! Он охотно возится с малышами, пускает к себе смотреть животных. Этот — выправится…

* * *

Дома тяжело, как свалившееся на семью несчастье, переживали поворот в судьбе Тарика и не верили, не могли поверить, что такое — навсегда. Что огрубевшие от работы пальцы (больше не пробегут по клавишам, рисовальные альбомы отложены на годы, а может быть, тоже навсегда.

Тарик уехал из Москвы. Он поступил работать на зообазу, где животных держали для киносъёмок. Он их кормил, выгуливал, чистил клетки. И помогал директору зообазы, когда животных снимали для фильма.

С детства Тарик видел себя скульптором и теперь не подозревал, что его будущее начинает определяться именно здесь. Он просто жил среди зверей, потому что иначе жить не мог, и пока не думал о будущем.

На зообазе подрастали медвежата. Оказалось, что молодая медведица Мика не нужна. А это она, ещё маленькой, принималась скулить, когда он отходил от клетки. Она звала его, и он возвращался. Поднимал на руки, она копошилась у него на груди, лопотала, тянулась лизаться.

Если у Мики был плохой аппетит, Тарик изводился: не заболела ли она. Если хороший — смотрел с удовольствием, как она пьёт молоко или хрустит морковью. Тарика угостят ириской — он несёт Мике. Семечками — опять Мике. Он засовывал в клетку сноп травы и глядел, как она роется, выбирает, как жуёт эти самые витамины.

Что будет с ней? Куда она попадёт? Останется ли в живых?

Он бросился к директору просить, чтобы ему продали Мику. Директор согласился. Тарик поехал в Москву одалживать деньги. Он нервничал, торопился, он боялся, что директор передумает. Вернёшься, а Мики нет.

Директор не изменил своему слову, и у Тарика появился собственный медведь. Не было теперь на свете более занятого человека, чем Тарик: работа на зообазе и Мика. А он должен не только ухаживать за Микой, но и развивать её кругозор.

Её поместили в клетку, стоявшую отдельно под навесом, и

Мика легко могла омещаниться. Она станет бояться перемен, вообще всего нового. Ей страшно будет покинуть привычный угол. Захочешь вывести из клетки — начнёт упираться. Уже так и случилось однажды.

Я видела, как Тарик тащил Мику за верёвку, а она мычала, панически цепляясь за дверь. Потом потеряла голову и рванулась из рук. Он успел броситься на неё, ухватиться за ошейник и, тормозя сапогами, остановил зверя. Я тогда удивилась его отваге.

— Как это ты, верхом на ошалевшем медведе… — сказала я.

Он даже не понял, что меня поразило.

— Там трава, — ответил он, — мне в сапогах скользко, а Мике — нет. Хвататься за верёвку — поедешь за ней, и только.

Помолчал угрюмо.

— Этого я и боялся, — обронил он.

Тарик считал, что Мике не только через решётку надо общаться с людьми. Ей полезно было бы в Москве ходить по улицам, ездить в трамваях и в троллейбусах. Так он считал и, думаю, поступал бы, если б ему разрешили.

Ему оставалось гулять с Микой по лесу, но и это было отлично. Находившись, Тарик валился на землю, медведица рылась тут же, сжёвывала какие-то корешки, чавкала, пофыркивала.

…Микина башка нависла над Тариком. Близко глянули медвежьи глазки. Тарик обхватил мохнатую шею. На такой шейке десять человек повиснут выдержит. Ну и шейка! Ну и скотинка — вся из верёвочек, из жилочек…

Мика облизывает Тарику нос, щёки, ворчит ласково.

— Нежности какие. Ну, хватит. Ладно. Ладно, говорю!

Тарик лежит, раскинув руки. Небо. Земля. Земля тёплая. Отдыхаю, вот мой отдых. Вот — жизнь.

* * *

В это время был у него уже и Серёжа — выдра. Со съёмочной группой Тарик попал в Калининград и привёз оттуда выдрёнка.

— Как он тогда выглядел? — спрашивала я.

Тарик смеялся:

— Эта мелкая гадость состояла из какой-то там головы, какого-то живота… Лапы торчали в разные стороны… Помесь мыша с лягушкой!

Я с Тариком познакомилась позже и Серёжу увидела, когда тот превратился в зверя необыкновенной красоты, хотелось про

него сказать: королевский зверь. Мех у него плотный, ровный и нежный, а большое длинное тело так гибко, что со стула на пол он не спрыгивал, а стекал, как вода. У него пронзительный, беспощадный взгляд зверя — осторожнейшего из осторожных, одного из самых скрытных, при намёке на опасность готового мгновенно исчезнуть или начать жестокую оборону. Но если Серёже совали палец, он тут же принимался сосать. И все замечали тогда, как курноса и ещё ребячлива его физиономия.

Я поселилась в то время на зообазе, чтобы написать киносценарий о ручной выдре. Я ходила за Тариком и Серёжей, приглядываясь к обоим.

Вот по лесной дороге шагает человек. За ним своей характерной побежкой — вприскочку, спина горбом — торопится выдра. Ранняя весна. Кое-где лежит снег. По снегу выдра едет на животе — эти звери любят кататься. Охотники знают, как выдры зимой катаются с гор — с удовольствием, как съезжаем на санках мы.

У реки Серёжа соскальзывает с берега и бесшумно уходит под воду. Только пузырьки на поверхности отмечают его путь. Тарик напряжённо следит.

Серёжа вылезает прилизанный, мокрый и не менее напряжённо ищет взглядом Тарика. Они боятся потерять друг друга.

У выдры, должно быть, отличный слух и не особенно острое зрение. Тарик произносит:

— Здесь я, Серёжа.

И зверь, успокоенный, ныряет снова. Тарик показывает мне глазами: на глине остался странный след перепончатой лапы.

Прямо из воды выдра взбирается на плечи хозяина. Она растягивается, величаво и грозно поглядывая с этой надёжной твердыни, а Тарик морщится и строит рожи, потому что за шиворот ему течёт.

Затем Серёжа долго возится со своим мехом. Он елозит у хозяина на коленях, вытирая себе спину, бока, живот; морду он предпочитает вытирать о шевелюру Тарика. И вот Серёжа сух, пушист, доволен. У него прекрасное настроение. Он вырывается, отбегает и кидается на Тарика, и скоро оба барахтаются на земле.

— Ой, звери напали! Звери руки отъедают! — кричит Тарик, и хохочет, и ловит Серёжу, обхватывает, катается с ним, потом бежит, и выдрёнок скачет следом.

Посреди обширного луга неровное озерцо. Тарик бежит вокруг озера. Серёжа догоняет. Несутся изо всех сил, но не очень-то ловка выдра на суше. Ей куда легче в воде. Серёжа смекалист, он бросается в воду, стремительно плывёт, срезая угол. Схватка. Погоня. Теперь удирает Серёжа.

Смех. Беготня. Приволье. Синее весеннее небо, синее озеро, первая молодая трава по берегам. А кругом взрыхлённые половодьем поля, нет им конца и краю…

* * *

И всё-таки проходили беззаботные времена. Нужно содержать уже четверых: собаку Мишку, песца Савку, Серёжу и Мику. Нужны молоко, мясо, рыба, овощи.

— Нахлебнички, — добродушно ворчал Тарик, — им только подавай!

И видно было, что новые обязанности ему по нраву.

Когда снимали «Славный зверь» — фильм про выдру, — не пришлось искать артиста на роль её хозяина. Тарик играл себя сам. Оказалось, он свободно держится перед объективом. И он сумел сделать так, чтобы играл Серёжа.

Серёжу не смущали ни чужие люди, ни резкий свет, он ничего не боялся и делал то, что велел ему Тарик. Не только выносил из воды и опускал у ног человека рыбу или спал в обнимку с хозяином — оба освещённые прожекторами, под гул моторов, среди суеты съёмочной группы, — Серёжа передавал настроение.

Ручная выдра потерялась в лесу. Она ищет хозяина, в отчаянии бросается к людям, а те не понимают, боятся, бегут, и зверь сиротливо смотрит им вслед. Даже фигура его при этом выражала одиночество. Взгляд был полон горького недоумения. Как это получалось у Серёжи? Не знаю. То, чего Тарик и Серёжа боялись в жизни — потерять друг друга, — случилось в фильме и было так понятно обоим!

Зверь играл, и всё-таки нельзя сказать, что он дрессирован. Ему внушено доверие к людям. Использовано то, что он любит и умеет делать. Использовано бережно. Без принуждения.

Это был выход для Тарика. Работа в кино увлекательна, даёт заработок и возможность держать животных. Поэтому, когда для картины «Чёрный котёнок» понадобились кошки, Тарик смело завёл четырёх. Потом со своим зверинцем он перебрался в город, на московскую киностудию. Тогда снимали «Сказку о царе Салтане». Тарику дали небольшую роль. Самый младший среди индийских гостей, тот, что с обезьяной на плече, — это и есть Тарик.

* * *

Я предъявляю пропуск. Иду мимо съёмочных павильонов.

Смуглый восточный принц в чалме, осыпанной драгоценностями, и с кинжалом на поясе курит, прогуливаясь. Курит не кальян, он держит пачку «Беломора» и затягивается дымом дешёвой папироски. Важный господин с седыми бакенбардами, в сюртуке и цилиндре, устало прислонился к стене и жуёт бутерброд.

Пересекаю обширную съёмочную площадку. Она загромождена. Каменный замок феодала с крепостной стеной, угол мечети, фасад избы — всё это сбито из фанеры, досок, облицовано и раскрашено. Чугунную цепь, которая валяется на асфальте, можно поднять мизинцем.

Деревья роняют листья. Накрапывает. «Надо волкам наломать рябины. Если только, — думаю я, — если только там всё в порядке».

Теперь я поняла, почему Тарик уезжал в командировку в такой панике. Володю, который взялся заменить Тарика, застать невозможно. Я приезжала сюда вчера, а перед этим не была три дня.

Вчера, прежде чем отпереть ворота, поглядела в щель и увидела хромающего волка. Двое лежали, Лобан ходил. Он ступал передней лапой и сильно припадал на неё. К самому животу он поджимал то одну заднюю лапу, то другую. «Всё, — подумала я, — обезножел волк!» Неубранная клетка, неизвестно какая кормёжка, да мало ли…

Когда я вошла, лежащие волки лишь приподняли головы. Помятые физиономии, равнодушный взгляд. Лобан растерянно стоит на трёх ногах. Никогда ещё не встречали они меня с таким безразличием.

Володя всё не шёл. Я взялась за крайцер — тяжёлый железный прут с поперечиной на конце — и стала выгребать из клетки сырые, слежавшиеся опилки. Ополоснула из ведра пол. Волки поднялись, вся троица начала расхаживать, и, к своему удивлению, я заметила, что Лобан больше не хромает. Откуда мне было знать, что волки так брезгливы и чистоплотны!

Потом я меняла подстилку у Лады — косули, возилась в клетке, где живут беркут и степной орёл, возилась с лисицами, совами, филином, а когда кончила, измученная уже до предела, и собралась кормить, в ящике не оказалось ни мяса, ни рыбы. Только морковь. А Серёжа нетерпеливо кричал, и дождь, осенний, с ветром, разошёлся как следует. Я ждала Володю, который так и не явился, и думала о Тарике. Как же он тут, днями и ночами, дождь не дождь, холод не холод… Какую жизнь себе выбрал! Смолоду — какая пропасть забот!

…Дорога безлюдна. Чем ближе к зверинцу, тем тревожнее. Несу сегодня полный рюкзак, но разве я управлюсь одна? Не по моим силам задача. Хоть бы адрес Володькин мне оставили!

Вдали разворачивается грузовик с подъёмным краном. На платформе две пустые транспортные клетки. Медвежьи клетки. Слышен возбуждённый собачий лай. Неужели приехали?

В воротах успеваю заметить, как Тарик подводит Мику к её постоянному жилью. Клетка стоит высоко, и медведица взбирается сначала на ящик, с ящика проворно перескакивает в клетку, и видно, как сотрясается над могучими мышцами мохнатая шкура.

А вокруг что творится! Мечется Лада, её копытца без разбора ступают по полу, в кормушку, в поилку с водой. Серёжа теребит лапами сетку и свистит, как птица. С ума сходят волки — прыгают, суетятся — и вот не выдержали, запели хором,

запрокинув морды. А возле них стоит Тарик, склонив к плечу голову, улыбаясь, и подпевает им — очень точно, по-волчьи.

* * *

Я могла бы и не навестить моих знакомых в тот вечер — мы не встречаемся годами. Была суббота, кроме меня сидели ещё люди. Пили чай с вареньем, с пирогами. И вот слышу, как один человек — по говору определённо не москвич — рассказывает о кино. Он работает в съёмочной группе, их фильм почти закончен, доснять осталось немногое. Завтра экспедиция отбывает. Сюда приезжали делать эпизоды с медведем.

Он рассказал, что в картине должна быть сцена, где молодая девушка героиня фильма — случайно проваливается в берлогу. На неё кидается разъярённый медведь. С пригорка прыгает и встаёт между нею и зверем отважный парень, схватывается с медведем, ножом убивает его и спасает героиню.

Режиссёр предполагал действительно убить перед объективом медведя как и большинство кинорежиссёров, он думал, что иначе сцена не получится естественной. Существует же охота на медведей, почему одним зверем не пожертвовать для искусства?

Разузнали, что на московской студии имеется такой дрессировщик с таким медведем… Теперь я задаю себе бесконечные вопросы. Что значит «такой» медведь? Ручной? Которого можно к тому же убить? А «такой» дрессировщик? Способный показать рукопашную с медведем? Дублировать в опасную минуту актёра? Или дрессировщик, который не пожалеет своего медведя?

Затем я услышала ещё кое-что. Фильм делается долго. Бесконечные съёмки в павильонах и на натуре, поездки с их гостиницами, неустроенные ночи и напряжённые дни; смена неудач и побед, сомнений и уверенности… Некоторые в группе ещё не утеряли энтузиазма, но всем хотелось наконец закончить, хотелось домой — все устали. Кроме того, объявились зверолюбы, не соглашавшиеся снимать жестокую сцену с медведем. Начались разногласия. Спорили иногда до ссоры.

В таком состоянии — и с такими намерениями — прибыли в Москву. Познакомились с Тариком. Поговорили с ним, обсудили то, другое. Приглядывались друг к другу. Он показал своих животных — почудилось что-то непонятное в его отношении к животным, что-то не совсем обычное для дрессировщика. Ту сцену, заключительную, пока не обсуждали.

Выбрали место для съёмок — неширокое безлюдное шоссе, подмосковный великолепный лес кругом. В транспортных клетках привезли медведей, собак.

Надо было снять медведя на свободе. Обтянули сеткой большой участок леса. Тарик поочередно то с Микой, то с Фенькой находился внутри вольера, остальные снаружи. И вот Фенька разошлась, разбегалась и с ходу, легче кошечки, со скоростью, всех удивившей, взлетела на сосну.

Обратно она слезала медленно, с оглядкой и не в вольер, нет — по ту сторону сетки, где находилась группа.

Сетка шла по холмам, оврагам, кустарникам, и Фенька носилась вокруг, то скрываясь, то показываясь, весёлым галопом проскакивала мимо людей.

Тарик и не подумал покинуть своё место в центре ограды. Он только командовал оттуда:

— Не двигайтесь! Стойте кучей! Никаких резких движений!

Потом добавил:

— Не двигайтесь, всё равно догонит.

Он произнёс это, кажется, серьёзно, но с какой-то особой интонацией, и, точно в тон ему, откликнулся режиссёр.

— Слушай, — взмолился режиссёр, — возьми меня к себе!

— Нельзя, — отвечал Тарик, — места мало. Метраж не тот.

— Может, я в клетку залезу, пока она свободная, — просил (не жестикулируя, без резких движений) режиссёр, — в клетке, знаешь… как-то спокойнее.

Оба уже открыто смеялись.

Некоторое напряжение Тарик уловил, но не мог он не оценить способности шутить в такую минуту. Да и вся группа… Неплохо они держались, это он заметил.

Затем понадобилось снять берлогу, видневшегося в ней зверя и собак, рвущих ему шкуру. Тарик нашёл место на откосе, под корнями старой сосны. Пока углубляли яму, он заметил, с каким интересом поглядывает Мика, и понял, что яма ей нравится. Открыл клетку, и Мика побежала прямо к берлоге. Уж она там трудилась! Она рыла, выкидывала землю, исчезала и выглядывала…

Медведь в берлоге был снят.

Пустили и натравили собак. Не на Мику, избави боже, о таком чёрном деле никто и не заикнулся! Мику водворили в клетку, а в берлогу залезли люди с полушубком. Выставляли, наружу мехом, полушубок, его драли собаки. Тянули с таким азартом, что вырвали из рук и с триумфом понесли свою добычу. Это показалось так смешно, что все захохотали.

— В нашу уставшую группу, — говорил рассказчик, — парень

этот внёс милую атмосферу, совершенно новую, непривычную. Всё у нас переменилось. Вечерами в гостинице смех, оживление. Раздражённости как не бывало. Утром мы приезжали в лес. Он уже ждал нас, такой весёлый, бодрый, что-то уже придумавший… Бесконечно изобретательный! Он был, по существу, режиссёром всех «звериных» сцен, подсказывал, с каких точек снимать, придумывал, как обойтись с медведем, чтобы сцена получилась…

— Мы смотрели на него открыв рот и слушали открыв рот. Никто не представлял себе таких отношений между человеком — причем профессионалом и зверем. Он, понимаете, совершенно не противопоставлял им себя. Дрессировщиком его можно назвать лишь условно. Как-то получается, что он среди зверей — старший и одновременно равный… Мне было неловко за себя, вдруг признался рассказчик, — я с таким самозабвением работать не умею. Настоящее творчество!

Вот один эпизод. Девушка очутилась в берлоге, надвигается рассвирепевшее чудовище с развёрстой пастью. Вот уже зверь и актриса сблизились («Не бойтесь, она не тронет». — «А я и не боюсь! Я только сначала боялась»). Смельчак бросается между ними (актёр уступает место дублёру, а дублёр — Тарик). Предстоит схватка, и Мику заменяют Фенькой.

— Почему, — ещё раньше спрашивала я Тарика, — ты не с Микой боролся? Фенька всё-таки взбалмошная.

— Зато Фенька полегче. Мика насядет, так выдох получается, а вдох почему-то не получается…

Группа наготове. Сейчас будет самое опасное. Тарик (в костюме героя) начинает заигрывать с медведицей. Он подталкивает её, щекочет по носу, замахивается — и она замахивается. Фенька входит в игру. Тарик обхватывает её, она берёт его в свои медвежьи объятия. Валит. Они катаются по земле. Идёт торопливая съёмка. Люди напряжены. Зверь увлёкся. Человек стиснут, спеленат медвежьими лапами.

— Мы увидели, как Тарик замер, его поднятая свободная рука замерла, потом чуть дёрнулась — едва уловимое судорожное движение боли… и крик: «Топуш!» Я не говорил вам, у него великолепный пёс, огромный, умнейший. Летит пёс, вмиг хватает медведицу за ухо, она — на него, пёс бежит, уводит её… Тарик встаёт. Он расправляет плечи, спину… с усмешкой… Не знаю, есть ли в кино ещё кто-нибудь, работающий с медведем без, хотя бы, намордника.

— Ну, а убитого медведя, — спросила я, — как же вы снимали?

— А это, представьте себе, вот как. Фенька валяется на земле. У неё перед носом Тарик вылил сгущённое молоко — таким образом, что ей можно лизать не двигаясь. Он встаёт с Феньки — спиной к аппарату, с окровавленным ножом в руке. Краски налили!.. Крови — на стадо медведей хватит. Затем он

оборачивается — а оборачивается уже актёр. Ну, это обыкновенно, монтаж. Тарик посоветовал, откуда лучше снимать. Фенька лижет молоко, Тарик сидит на ней. Мы приготовились — он тихонько встал, отошёл… И — всё, понимаете! И отлично! Вот вам, — рассказчик задумчиво опустил глаза, — убитый медведь…

* * *

Киностудия — это целый городок. Есть и глухие, заросшие углы, где в безлюдные вечерние часы можно гулять с животными. Сейчас Тарик выходит с волками и Топушем — гигантским псом породы «московская сторожевая», который доброжелателен к людям и строг со зверями.

Прежде чем отойти от ворот, Тарик показывает глазами: на глине медвежий след. Я киваю. И — удивляюсь. Нелёгкий труд и вечные заботы не погасили в нём огня, который всех нас опаляет в детстве, когда в первый раз мы прочитываем Бианки и Сетона-Томпсона.

Волки натягивают поводки. Тарик удерживает их с трудом. Возле нас притормаживает микроавтобус.

— Тебя с утра ищут! — кричит шофёр, распахивая дверцу. — Давай скорей в группу! Отведи волков, я тебя свезу!

— Я только приехал, — отвечает Тарик.

— Да утром завтра съёмки, две собаки нужны! Там психуют!

— Скажи, у меня утро в своей группе занято. Я не смогу.

Дверца захлопывается.

— Я скажу, да ведь обратно за тобой погонят! — кричит шофёр, отъезжая.

— На части рвут, — говорю я, — ты смотри не зазнавайся!

Тарик смеётся. Он достаёт из кармана и протягивает мне записку:

> *Уважаемый Тарик! Убедительно прошу зайти в отдел подготовки съёмок. Обращаюсь с убедительной просьбой достать чёрного козла для к/к «12 стульев».*

…Волчья троица спущена с поводков, и я смотрю, как молодые звери мчатся, ликуя.

— Сравни с собаками, — слышу я, — заметь, как бегут.

Как бы легко ни бежали собаки, вы видите их усилия. Волки стелятся, будто позёмка. Будто нет у них ни мускулов, ни длинных быстрых ног, и сами они — ветер.

Волки возвращаются. Я сторонюсь — собьют ещё, бог с ними! Лобан с ходу бросается хозяину в ноги, и Тарик оглаживает

красивую крупную голову зверя. Волчица и другой волк ревниво оттесняют Лобана. За ними зорко наблюдает пёс.

Темнеет. Идём обратно. У Тарика тяжёлая походка. В командировке он запустил бороду. Безо всякого грима он только что сыграл цыгана в фильме «Дети», цыгана с медведем. С Микой.

Волки заведены в клетку. Они получают мясо. Потом арбузы. Захлебываясь, вгрызаются в сочную мякоть — волки любят не только рябину, но и спелые арбузы, дыни, яблоки.

— Как Мика на съёмках держалась? — спрашиваю я.

— Отлично. Среди чужих людей, учти. В тесноте, в павильоне… Повезло мне с Микой.

Через сетку я проталкиваю Серёже яблоко. Оно падает в бассейн, выдра соскальзывает в воду, подхватывает яблоко. Тарик дёргает меня за рукав. Оглядываюсь.

Волки спят. Они растянулись один от другого поодаль, компания молодых волков — переярков. Маленькая стая на отдыхе. Где-нибудь на укромной полянке, после утомительной охоты. Вокруг лес…

— Никому на свете не завидую, — тихо говорит Тарик. — Жизнью я доволен, зверями доволен, рад, что они у меня есть. Так жить можно.

— Ты ведь жаловался, — говорю я. — У людей выходные, у тебя не бывает. Что даже заболеть ты не имеешь права.

— А ты думала? Так и есть. И все же другой жизни мне не надо, — упрямо твердит Тарик.

Он отворяет дверь вольера, и оттуда на лёгких копытцах выпархивает косуля. Вместе с ней за ворота выносятся собаки.

Теперь их очередь бегать, баловаться и мять осенние, опустевшие газоны…

НЕ НУЖНА

В доме отдыха шофёру велели захватить с собой кошку с котёнком и в Глумищах сдать их на ветеринарную станцию. Шофёр ехал в город, вёз в ремонт старые покрышки, времени у него было в обрез. А на ветстанции, как подгадали, вывесили объявление: «Санитарный день».

Шофёр огляделся. Даже спросить было не у кого, куда ему девать кошек. Двор пустой. Изба тоже пустая. И голая, нежилая, без ставен и без крыльца. Большие немытые окна из одного в другое просвечивают сквозь дом. На подоконнике — запущенная керосинка. Хороша контора: электроплиткой не разжились.

Парень вернулся к машине, влез в кабину. Включил зажигание и медленно тронулся. Рядом с ним стояла картонная коробка из-под макарон, перевязанная шпагатом. В ней сидели кошки. Одна из четырёх створок, прикрывающих коробку, была надорвана, чтобы кошки могли дышать.

При выезде из села у водоразборной колонки шофёр увидел старуху с вёдрами и притормозил.

— Бабушка! — крикнул он через дорогу. — Вам кошки, часом, не нужны?

Старуха оскорблённо выпрямилась и пошла с коромыслом на плечах.

— Я серьёзно спрашиваю! — кричал парень.

Старуха будто и не слыхала.

На сто пятом километре он свернул налево, на бетонку. Он знал эти места. Деревень поблизости нету, даже и в грибное время редко кого здесь встретишь.

Он вынул коробку.

Войдя в лес, поставил коробку и развязал. Выпрыгнула кошка, за ней выбрался котёнок. Кошка было насторожилась, но тут же подошла к человеку, стала тереться о ноги. Котёнок повалился, обхватил лапами её голову играть.

Парень вернулся к машине — кошки за ним. Он топнул — они его не боялись. Тогда он достал из машины свёрток. Углубившись подальше в лес, развернул газету и накрошил белого хлеба, набросал колбасы. Кошки принялись есть. Парень отошёл, оглянулся. И побежал, прыгая через кусты, отворачивая лицо от веток.

1

Она была не сибирская и не сиамская, а самая обыкновенная кошка с обыкновенной серой в полоску шерстью. Она не выглядела сытой, хоть и жила при доме отдыха. Мех её, правда, лоснился, но сама она оставалась неказистой, со впалыми боками и тонким хвостом.

Кошка умела отличить тех, кому приятно её гладить, от тех, кто этого не любит, и не прыгала на колени ко всем подряд. Это было приветливое, ненавязчивое животное, как будто созданное для дома отдыха. Колени не чувствовали её веса, руки успокаивались на тёплой шерсти, а дремотное мирное мурлыканье снимало напряжение и усталость.

Когда она принесла котят, ей оставили одного. И после бывали у неё котята, их отбирали, а того, первого, не трогали. И кошка жила спокойно, пока не появилась новая сестра-хозяйка, которая считала, что там, где люди, животным не место.

…Стояла осенняя ночь с моросящим ледяным туманом. Кошка продрогла и потерянно бежала по лесу. Котёнок часто отставал. Она поджидала его, и они вместе трусили дальше.

Скоро котёнок проголодался. Кошка села, он ткнулся ей в живот. Полугодовалый, он до сих пор сосал молоко и вытянулся почти с мать, но силы ещё не набрал и был узкогрудым, лёгким не по росту.

Кошка облизала его мокрые уши, худую мокрую шею, выпрямилась и повернула голову в сторону дома. На бегу и во время остановок она смотрела в этом направлении. Она будто вслушивалась в безлюдное пространство, которое ей надо преодолеть.

Она знала многое. Откуда? Говорят, будто кошки не умеют думать. И всё-таки она отлично знала, что находится далеко от дома. Что надвигаются холода. Что надо торопиться.

Только одного кошка не знала. Она не связывала свою беду с человеком. Она забыла, как её сажали в коробку, а помнила, как человек выпустил её из коробки и накормил. Кошка не могла понять, что это люди её сюда завезли. И спешила вернуться к людям.

2

Шоссе, ведущее к дому, сильно петляло, а кошка шла прямым, самым коротким путём, и теперь ей предстояло пересечь шоссе.

Она выбралась на асфальт и сверху глядела, как из канавы карабкается измученный котёнок. Потом не торопясь начала переходить дорогу, хотя слышала тяжёлый ход и лязганье несущегося грузовика.

Шофёр грузовика заметил впереди кошку. Он вспомнил, как задавил когда-то кошку и долго потом ему было не по себе. Сейчас шофёру не хотелось тормозить, пятитонка с прицепом-цистерной развила хорошую скорость. И он рассчитал, что кошка успеет подойти к правой обочине, а он подаст грузовик влево и не заденет её.

Но из кювета прямо под машину выбежал котёнок. Грузовик запылил по левой обочине, пропуская котёнка между колёсами. Цистерна тоже промчалась бы над котёнком, если б не цепь, которая свисала сзади и, подскакивая, неслась по асфальту. Колёса миновали котёнка, а цепь ударила.

Кошка ждала на середине откоса. Под откосом стыло болотце, между кочками торчала жёлтая осока. Кошка высматривала, где можно будет посуху провести котёнка.

Шум удалялся, дрожь в земле затихала. Чад относило утренним ветерком. Котёнок не появлялся. Кошка помяукала, торопя его. Её уколола тишина, и она взлетела на шоссе.

Он лежал плоский, как коврик. Будто и тела в нём не было, только взъерошенная шкурка. Но он дышал. Мелко, едва заметно у него трепетал бок.

Кошка переступила через котёнка, круто повернулась, переступила в обратную сторону. Пригнулась и стала захватывать кожу у него на загривке.

Взявшись поудобнее зубами, кошка поднялась. Он был слишком крупным для маленькой своей матери. Половина его длинного туловища лежала на земле, даже передние безжизненные лапы доставали до земли.

Высоко задрав и повернув голову вбок, чтобы можно было ступать, кошка понесла котёнка через дорогу. Она прошла обочиной до конца болота и начала спускаться. Она пятилась, волоча его вниз рывками. На лужайке она крепко, всем ртом закусила ему загривок и потащила к лесу.

Кошка затолкала котёнка в яму под еловым выворотнем. Здесь кто-то жил раньше. Прошлогодняя листва слежалась под

тяжёлым чьим-то боком и хранила в себе непонятный запах. Свисавшие с потолка корни были замусолены и обгрызаны. И остались кое-где вмятины от широких ступней.

Но никакие следы, ничто не могло отвлечь кошку от единственной заботы. Она ползала вокруг своего детёныша, обогревая его. Она укладывалась животом к его носу, надеясь, что запах молока привлечёт котёнка.

Котёнок не двигался, ничего не слышал, не ел — и у кошки нестерпимо болело сердце.

Прошло много времени, может быть сутки, может быть гораздо больше, когда котёнок забеспокоился. Он заскрёб лапой, слабо цепляясь когтями: он хотел перевернуться. Кошка помогла ему. Отдышавшись, он попросил есть. Кошка тотчас прилегла и ощутила, что молока у неё мало. Он готов был сосать, а она могла дать ему какие-то капли!

Кошка опрометью выбежала из ямы. Где бы она ни росла, как бы ни баловали её люди, кошка остаётся охотником. Дома она выловила всех мышей и охотилась в саду. Там у неё имелись заветные места. Одно такое место было в кустарнике возле теннисной площадки. В этот кустарник часто забирались птицы, особенно к осени, когда осыпаются семена.

Заметив птицу, кошка ползком огибала кустарник и затаивалась напротив сетчатой ограды. Она по опыту знала, что птица пролетит в кустах низом, где ветки пореже, и до ограды не успеет взмыть.

Улучив момент, кошка бросалась. Птица выпархивала из чащи и натыкалась на железную сетку…

3

К вольной жизни кошка оказалась приспособленной не хуже, чем к домашней. Она любила тепло и умела найти его в лесу в жестокую осеннюю пору. Нужна еда — кошка её добывала. И защитить своего детёныша она могла.

Яма, где выздоравливал котёнок, принадлежала медведю, и вот он явился в свою берлогу, собираясь залечь на зиму.

У входа он шумно втянул воздух. Чужой запах не смутил его: он понял, что в берлоге поселилась какая-то мелюзга. Однако и мелюзга способна причинить неприятности. Медведь лёг и для начала сунул в ямину лапу. Но тут же отдёрнул её. И вскочил, когда ему в морду ринулся живой комок.

Медведь отшвырнул комок, и вот они встали один против другого могучий зверь и домашнее хрупкое животное с изогнутой колесом спиной и одичало распушённой шерстью.

И у медведя вздыбилась холка. Он расставил передние лапы, опустил к земле лобастую башку, косился своими глазками на незнакомого врага. Враг шипел, прижав уши, открыв розовый рот, и бросился опять, норовя попасть в глаза.

Медведь поднялся в рост и ошалело попятился. Кошка кидалась и ловко увёртывалась от его лап. Он было двинулся к ней, обозлённый, но она не отступила. Она завыла визгливо, предостерегающе. И — прыгнула снова.

Вскоре через поляну промчался медведь. За ним вихрем неслась маленькая разъярённая кошка. Нагнав зверя, она вцепилась ему в мохнатый зад. Взревев, медведь вломился в кустарник.

Кошка побежала обратно, к берлоге. У входа она долго взволнованно вылизывала себя. Она часто поднимала голову, её потемневшие глаза горели.

Наконец она влезла в яму. И котёнок, лежавший в глубине, услышал нежное материнское мурчанье.

…А ночами ей снился родной дом.

Стоило забыться, как он возникал перед ней в звуках, в запахах. Ей снился пол в столовой, пахнущий всегда по-летнему: это от паркета, натёртого воском, тянуло липовым цветом. Ей снилось, что она лежит на полу, слушая, как двигаются и разговаривают люди.

Иногда она чувствовала бархат стула и раздражающий запах лака от деревянной спинки. Она устраивалась обычно так, чтобы спинка оказалась подальше от её носа, — сейчас ей был приятен и лак. Она вдыхала лак, а кругом звучали голоса.

Ей без конца снились люди. Она не видела их, она их слышала и ощущала. Ей снились человеческие руки. Разные, безразличные и внимательные, которые касаются её спины небрежно или гладят, желая в самом деле приласкать.

Она скучала по всяким рукам, но одни были ей особенно нужны. Они являлись вместе с благодатным жаром, веющим от печей, с шорохом закипающей в котлах воды и грохотом каменного угля, летящего в печь с лопаты. Эти руки кошка тоже не видела. Она лишь вспоминала, как скользит по её меху твёрдая старушечья ладонь и как великое чувство защищённости растёт в её кошачьей душе…

Она всё чаще, настойчивее вызывала котёнка из ямы. Он слушался и выползал, большеголовый, с прозрачными ушами. Кошка манила его за собой, он ступал робко, будто никогда не умел ходить.

Однажды кошка не вернулась к яме. Она уходила, и котёнок тихонько потянулся за ней, но быстро устал и сел. Он смотрел вслед матери печальными блёклыми глазами. Кошка замедлила шаг — и котёнок, хромая, нагнал её.

4

В погожее, с морозцем и солнышком утро в воротах дома отдыха появились две кошки. Гуляющие в саду люди видели, как эти кошки пробежали вдоль аллеи, поднялись по ступеням на веранду. Кто-то отворил двери, и одна из них, та, что меньше ростом, попыталась проскочить в дом. Кошка была грязной, худой, и человек отпихнул её. И другие люди отпихивали кошку. Разок ей удалось проскочить в щель, но её тут же выкинули обратно на веранду. И всё-таки она с непонятным упорством продолжала лезть. Вторая кошка, хромая и тоже костлявая, забилась в угол и оттуда наблюдала за первой.

Люди накрошили белого хлеба, набросали колбасы, оставшейся от завтрака. Маленькая кошка немного поела. Когда зрители разошлись, исчезла остальная колбаса — наверное, её доела большая.

Полдня кошки толклись у двери. Скрылось солнце, сквозняки погнали снег по каменному полу веранды. Большая кошка дрожала в своём углу. Маленькая дежурила у входа.

Наступило обеденное время. То и дело заходили в дом люди, но кошка так и не смогла преодолеть заслон из сапог и ботинок. Она сидела перед закрытой дверью. Её негустой мех ворошил ветер.

А потом кошки пропали. Их след вёл к подвальному окну, за которым слышался грохот каменного угля, летящего в печь с лопаты. Здесь, на занесённой снегом раме, под запертой форточкой остались отпечатки двух лап. Вероятно, кошка заглядывала в окно.

Всю зиму петляли вокруг дома кошачьи следы. Большая кошка не попадалась на глаза, маленькую изредка встречали. Каждый раз она спешила скрыться. Подозревали, что истопница тайно держит кошек в котельной, хотя и там их не нашли.

Быть может, кошки поселились под одним из коттеджей, пустующих зимой, и окончательно одичали, а дикие умеют прятаться от людей.

ЗАМОРСКОЕ ЧУДО

Наш знакомый привёз из Индии лемура. В воскресенье мы ездили смотреть. У зверька настоящие руки и огромные жалобные глаза. Если его хотят погладить, он с отвращением отодвигается, показывая зубы, и всё это медленно, как лягушонок на холоде. Он из тропиков, у нас на севере ему не по себе. Поэтому хозяин и гости говорили о том, что зверьку мало солнца и нужен кварц, а с другой стороны нужна темнота: лемур — животное ночное. Говорили, что в одном углу комнаты ему холодно, в другом, где батареи, тепло, но сухо, и не построить ли жильё, где можно регулировать климат, и не пойти ли в Зоопарк посоветоваться, хотя в Зоопарке лемуров нет. Обсуждали, чем кормить это заморское чудо…

Сегодня я иду по улице, как вдруг дорогу перебегает ещё какое-то неизвестное животное — с длинным туловищем и длинным хвостом, полосатое, на хвосте тоже полоски, кольцами. Оно тут же скрылось в подворотне, но я запомнила, как красиво оно бежало — на мягких лапах, скачками, и с такой лёгкостью, будто тело у него ничего не весит.

Если бы пропал лемур, хозяин улицу обшарил бы, объявления расклеил, по домам бы ходил. И этого, что мелькнул и спрятался, ищут. Тоже кто-то волнуется, останавливает прохожих, зовёт в чужих подъездах. И найдёт, наверное.

…Найдёт и вынесет на улицу. Мы, конечно, столпимся вокруг. Каждому захочется дотронуться до невиданного животного.

«Он не кусается?» — спросят из толпы.

«Ну что вы», — улыбнётся хозяин.

К зверьку потянутся руки. Какая у него мягкая шерсть! И он, оказывается, любит, когда его гладят! Он издаёт шёпотом своеобразный звук, выражающий удовольствие.

«Для чего их держат?» — спросит из толпы практичный человек.

И мы узнаем, что животное ловит мышей. Оно сильно привязывается к людям и к дому и очень чистоплотное.

«А чем его кормят?» — спросит практичный человек.

Животное любит мясо и молоко. Можно просто хлеб накрошить в молоко. И суп оно ест, и кашу, да вообще почти всё ест.

Моя мама спросит о климате, как оно переносит наш климат. Хозяин объяснит, что зверёк привыкает к любому климату.

«Мам, — скажу я, — где нам взять такого?»

«Если вам понадобится уехать, — обратится мама к хозяину зверька, — и некуда будет его деть…»

Поглаживая своего зверя, человек ответит, что его сослуживцы скоро привезут пару, и, возможно, появятся малыши. Он ничего не обещает, но свой телефон охотно даст.

Мама одолжит у кого-то голубую шариковую ручку. В толпе начнут записывать телефон, кто — на свёртке, кто — на газете. И тот, практичный, достанет толстую книжку с алфавитом. Откроет на странице с буквой «К»…

Если б зверёк был редкостью, единственным на весь город, если б никто ещё не видел такого! Полезного в доме, и

неприхотливого, ласкового — и с дикими прозрачными глазами… Что мы сделали бы, увидев, что он скитается, голодный и затравленный?

Что, если б это была наша Первая Кошка?

ГОЛУБОЙ СВИТЕР

Рысь потянулась всеми четырьмя лапами и широко зевнула. Она лежала в сухой яме под еловым выворотнем и сонно выглядывала из полумрака.

Сквозь путаницу свисавших корней и сухой травы она разглядела в утреннем тумане дятла, проводила его ленивым, суженным в щёлку зрачком. Следом, звонко вскрикивая, мчалась вторая птица, и рысь слышала, как посвистывают упругие крылья.

Рысь перевела взгляд, и её блуждающие зрачки внезапно расширились. Она уставилась на зверя, неизвестно когда возникшего в низкорослом, сухом понизу ельнике. Рысь впилась в него почерневшими глазами. Одна её лапа судорожно сжалась. Она надеялась, что волчица не заметит и пройдёт своим путём, но та повернулась и загривок у неё вздыбился.

Шурша прутьями, не таясь, волчица уверенно шла прямо к месту, где лежала рысь. Лесная кошка была крупным, ловким, сильным животным, а волчица невелика, худа, неказиста, но двигалась она бесстрашно, и рысь изготовилась.

Волчица припала к земле. Кожа у неё на морде собралась в складки, открывая клыки. Губы дрожали. Рысь вскинула когтистую лапу, но волчица не двигалась, не собиралась нападать. Они застыли одна против другой выгнувшая спину, шипящая, растерянная кошка и маленькая волчица.

Рысь попятилась. Волчица встала, наблюдая, как она уходит. Рысь легко взмахнула на согнутую берёзу и оглянулась. Волчица ждала. Кошка, прижимаясь, сбежала вниз по наклонённому стволу, и лопатки у неё на спине горбатились боязливо.

1

Впервые волчица решилась отойти подальше от логова. За дни, пока ждала щенят, и потом, ухаживая за ними, она истомилась и теперь шла, жадно втягивая сырой весенний воздух.

Она шагнула с тропы, проложенной старым волком, и провалилась в рыхлом водянистом снегу. Снег холодил ей горячий живот. Она постояла, потом легла, покаталась на спине и затихла.

Она была молода и полна сил, однако с её непоседливым нравом трудно нести материнские обязанности. Волчат всего трое, но они так малы, что ещё ничего не умеют сами. Стоит отойти, улечься неподалёку, как снова пора к ним. Волчица возвращается, переворачивает щенка, вылизывает ему живот, увлекается и лижет грудь, тупое рыльце с беззубым молочным ртом. Сквозь лёгкий и плотный детский мех добирается до горячей кожи, ведёт вдоль податливых позвонков, моет, приглаживает, укладывает возле себя. Вылизывает остальных. И следит, как сосёт каждый из них: азартная маленькая волчица, крупный щенок и средний.

И так дни и ночи, и отвлекаешься только в те минуты, когда старый волк выкладывает мясо, которое ему удалось добыть.

Сегодня она оторвалась наконец от гнезда. Вышла на жировку, словила и съела двух зайчат и шла обратно. Сейчас она, со щенячьи разбросанными лапами и оттянутыми губами, с приоткрытой узкой розовой пастью, дыша часто и мелко, лежала на спине, вся обмякнув, закатив янтарные глаза, а над ней плыл туман…

Мгновение — и волчица вскочила, отряхнулась. Её уже тянуло домой. Она двинулась дальше.

Ещё раз она сошла с тропы там, где лежало бревно. Обычно она впрыгивала на это бревно, чтобы оглядеться. Но сегодня его припорошило мокрым снегом, и волчица, взобравшись, мельком посмотрев в стороны, пошла с опаской, балансируя хвостом, занятая лишь тем, чтобы не поскользнуться.

Внезапно она заметила старого волка, уловила выражение, с каким он следит за ней, и полетела к нему прыжками.

Нос к носу волчица стояла возле волка. Она обнюхивала его большую голову, засовывала нос в его заросшее ухо, и глаза её лучились. А он подставлял ей поседевший лоб, могучую мохнатую шею…

Ему было много лет. Большую часть жизни он прожил со своей первой волчицей. Когда её застрелили, старый побывал в

капкане.

Он и раньше понимал, что такое капкан. Как бы ни запрятывали люди это чудовищное сооружение вместе с цепью, как бы ни старались убрать запах металла и своих рук, закопать, замаскировать, придать естественный вид месту, где насторожены смертоносные челюсти — старый волк не ошибался. Он замечал покосившуюся травинку на дёрне, по-новому лежащую валежину, накиданные листья.

Люди знают много способов, уничтожающих запах капкана, но старый всегда его чуял. Зимой, когда человек считал, что сама природа спешит на помощь, занося капкан снегом и уж вовсе ничего подозрительного не оставляя на поверхности, матёрый зверь всё-таки обходил опасные места. Потому что дикое животное — это часть природы, а волк, веками травимый людьми, стал самым напряжённым её нервом. Сжимаемый холодом капкан для него звучал.

Но в ту зиму застрелили волчицу, с которой он прожил почти шесть лет. В тоске он не находил себе места. Он присоединялся к стае, бросал её, сутками лежал, свернувшись, безразличный ко всему, разыскивал стаю снова. Охотился один, изредка вместе с другими, и еда не лезла ему в горло.

Он напоролся на капкан. Ему сдавило, искалечило переднюю ногу, и он стал бешено вырываться. Он грыз железо и дико озирался, зная, что скоро явится человек. Он обломал бы себе зубы или перегрыз онемевшую лапу, а волку лучше погибнуть сразу, чем остаться беззубым инвалидом, который беспомощно мнёт и, давясь, заглатывает целиком какую-нибудь жалкую добычу, медленно слабея от голода.

К великому счастью, дуги капкана сошлись неплотно. Волк дёргал лапу, сдвигался понемногу, и вот он высвободился и бросился бежать, вскидываясь всем корпусом, держа на весу сломанную, набрякшую ногу.

Теперь он хотел жить. Он и волчица были родоначальниками окрестных волков. За шесть лет ни одного выводка не удалось им сохранить целиком. Волчата умирали от болезней и несчастных случаев, а достигшие зрелости разбредались в поисках

собственной судьбы. Но и живших поблизости хватало, чтобы образовать большую семью. Они сплачивались на зиму, потому что стае легче выжить, чем одиночке.

Старая волчица обычно двигалась впереди, старый волк замыкал шествие. Теперь другая оказалась во главе, и его место было тоже занято. Быть может, уважение, которым старый пользовался, охраняло его. Никто и не подумал тронуть раненого. Он бы погиб от голода, если б не стая. Он ковылял следом и кормился тем, что оставалось от стаи.

Лапа зажила, но в эту весну он оставался один.

Волк с волчицей сходятся навсегда; из года в год выхаживать им детей, оберегать и учить, и трудными зимами водить их, малых и полувзрослых, в поисках пропитания. Изо дня в день вместе… И волки избирают друг друга. Старый встречал и других самок, но ни одна из них не привлекла его.

Февральским солнечным, льдистым утром он напал на след незнакомой волчицы. Добежав до поляны, он мгновенно разглядел пару взъерошенных волков-трёхлеток и волчицу, лежавшую на снегу. Легко выпрямившись, подняв небольшую голову, она посматривала по сторонам, будто снисходительно охраняя двух дурней, забывших об осторожности.

В позе её угадывались независимость и с трудам подавляемая живость, а недлинная узкая морда имела одну черту, иногда свойственную волкам: она была остра и в то же время чуть курноса.

Старый вышел на поляну. Молодые волки подскочили, разъярённые. Он молча показал клыки, и один трёхлеток отпрянул и уставился остолбенело не по-волчьи круглыми глазами. Короткий пушистый хвост, до того лихо вздёрнутый, повис с испугом и недоумением. Но второй зверь, с хрящеватой мордой, длинным и вёртким телом, надвинулся боком, вызывающе. Они встали голова к голове, затем медленно переступили наструненными ногами, и плечо прижалось к плечу, шея к шее, морды наперекрёст легли на вздыбленные спины. Они сошлись — старый и молодой.

Так начался странный поединок. Клыки и челюсти бездействовали, мышцы каменно напряглись, тела упирались, теснили всё с большей силою. Это был поединок характеров, испытание выдержки. Казалось, нервный срыв близок и драки не избежать.

Но не просто крепостью воли и мускулов мерились они в те долгие минуты. Острая волчья интуиция бурно говорила в обоих. Молодой вдруг ощутил, каков его соперник, и растерялся.

Звери не шевельнулись, и человеческий глаз не смог бы

уловить, что произошло, но волчица, зорко наблюдавшая за ними, всё поняла. Затем она увидела, как чуть отстранился крупный волк, а другой, утеряв воинственную осанку, сник, повалился на спину. Он ещё скалился, и старый волк стоял над ним, гневно ловя каждое движение.

Молодой перестал скалиться. Он сконфуженно поджал хвост и лапы, и эта поза обезоруживающей покорности защитила его. Потому что никогда волк не тронет другого, сдавшегося волка.

Старый направился к волчице.

Он был одет в богатую, с чёрной седловиной на широкой спине и густым торчащим воротником шубу, он плавно, несмотря на хромоту, нёс своё тяжёлое туловище.

И волчица не сводила с него взгляда, заинтересованная…

2

Волчица щенилась второй раз, и до сих пор ничто не омрачало её материнства. И всё-таки она, от природы наделённая живым, лёгким нравом (насколько может быть лёгким нрав волка), с самого детства понимала, кого ей надо опасаться. Когда ещё ни след, ни запах врага не были ей знакомы, её уха достиг однажды визг бензопилы, дотянулась, растекаясь по кустам, терпкая вонь раненой хвои и гарь лесоповала, и она поняла, что там человек.

Словно имелся в её мозгу отдельный центр, столь же необходимый, как дыхательный или зрительный, и он денно и нощно вырабатывал напоминание о том, что существует человек. Спала ли волчица, валялась, кряхтя и почёсываясь, под густой елью или, быстро прикидывая и рассчитывая на ходу, загоняла добычу — центр действовал.

Иногда с такой же отчётливостью, с какой настораживал, он успокаивал, если опасности не было. «Можно», — будто слышала волчица, и это означало, что можно унять напряжение, расслабиться, повалиться на землю и дать щенкам на себя налететь. И вскочить, сбросить их, помчаться, валяя их на ходу, увёртываясь. И вдруг замереть. Замирают и волчата. Что там? Подбирается, затаилось? Где? С какой стороны? — и снова пышный хвост по ветру, и кутерьма, и старый не выдерживает и ввязывается…

Волчица ощенилась в догнивавшей баньке, которая стояла в прежнее время на краю деревни, в километре от главного тракта. Когда южнее, у большой реки, обосновался лесопункт, деревенские избы разобрали и свезли туда, просёлочные дороги и тракт заглохли. Поначалу кое-кто ездил в далёкие угодья за сеном, и в бывшей бане хранили до лета косы и берёсту для гуесов. Потом баня осела, накренилась, люди позабыли о ней. Её облюбовала волчья пара.

Не только самое гнездо — целая округа становится на время логовом, а пока малы дети, всё на логове неприкосновенно для волка. Он, если возможно, избежит схватки с рысью, он пощадит гнездо куропатки и пропустит зайца. Никогда не услышать здесь весной волчьего воя. Глубокая тайна должна охранять беззащитное слепое существо — будущего волка.

И сейчас пара разошлась, чтобы высмотреть, проверить, обойти окрестность и вернуться домой самыми глухими тропами.

Волчица выбралась было на тракт, но её поразил незнакомый

звук, и она, крадучись, опять вступила в лес.

На проталине, окружённой редким голым кустарником, серая на оттаявшей землисто-серой листве лежала лосиха. Она облизывала телёнка, который громко чмокал, хватая и не умея ещё удержать сосок.

Волчица ползла, и сырое, приторное тепло новорождённого заволакивало ей ноздри.

Отчаянным годовалым переярком, выйдя до зимы из-под опеки родителей, занятых новыми детьми, она с братьями рыскала, бывало, по тайге и воровала телят у зазевавшихся лосих. Удалое время! Безнадзорная и бездомная, вольно бродила шалая компания. Драки и примирения, возня, баловство, лёжки на тёплой летней земле. И охота.

Случалось, молодые волки отнимали лосёнка, действуя собранно, как их учили взрослые, налетая и отвлекая лосиху,

помогая один другому. Взъерошенная лосиха напрасно крутилась тогда над своим телком, в отчаянии выбрасывая во все стороны бронебойные копыта. Ни треск веток, ни взвизг попавшего под удар волка-переярка — никакие звуки схватки не имели в то время значения. В какой ужас привёл бы сейчас волчицу этот шум неподалёку от места, где запрятаны её дети!

И телёнок, который оказался рядом с нею, не вызывал привычных побуждений. Она только внимательно следила за тем, как он бьётся, вставая, как утверждается на растопыренных, дрожащих ногах. Лосиха мирно вылизывала вымя, иногда поворачивая длинную морду, чтобы взглянуть на него.

Покачиваясь и приседая, лосёнок направлялся в сторону волчицы. За пнём она не видна была лосихе, и ветер не доносил волчьего запаха, но телёнок различил какое-то движение и заторопился. Он ещё не отведал материнского молока и не знал, кто его мать. Где искать молоко, к кому бежать, он не мог разобраться. Среди сумятицы младенческих представлений чётким было одно: мать должна двигаться; тот, кто движется, может оказаться матерью и накормить.

Жалобно ноя, заваливаясь и выправляясь на неверных ногах, лосёнок спешил к волчице.

Он подошёл и вытаращился близоруко. Его тощее тело подалось вперёд, он вытянул голову с мокрым курчавым лбом. Волчица не спускала с него ошарашенных светлых, блестящих глаз. Одна её напрягшаяся лапа упёрлась в древесный корень, грудь оторвалась от земли. Лосёнок шагнул. Волчица покосилась на лосиху, ползком попятилась, встала.

Лосёнок хотел встряхнуться, потерял равновесие и упал. Волчица вздрогнула. Нервная волна прокатилась по её туловищу, хвост повис и замер. Она смотрела исподлобья, не мигая. То, что в ней сейчас происходило и что люди назвали бы бессознательным затормаживанием рефлекса, быть может, называлось разумом и внутренней борьбой.

Лосиха, со злобно прижатыми к затылку ушами, метнулась к волчице. Та отлетела; извернувшись в воздухе, бесшумно приземлилась и на подогнутых лапах пустилась прочь. Слитный шум ожившего утреннего леса был для неё разъят, и один влекущий звук — слабый голос лосёнка — долго ещё терзал волчье ухо.

Скоро она позабыла и лосей, и все другие впечатления первой прогулки. Ей пора было кормить. Но она шла не прямым путём, а продолжала, хоть и накоротке, огибать участок. Она захватывала одну за другой знакомые тропы, приближалась к дому, как вдруг засочился и тут же сгинул взвинчивающий нервы запах.

Сдержав себя, волчица легла. Прямо под нею, под слоем почвы и широко вокруг с шорохом плыли весенние воды.

Постукивало, грызло, перекликалось мелкое зверьё и птицы. Волчица медленно поводила головой. Не только ноздри — весь её большой, выступающий вперёд над губами нос, зернистый и влажный, вбирал воздух. Запах пропал, словно бы померещился. Она привстала. Как будто бы ничего не было, но это уже не могло её обмануть. Она кинулась дальше.

Её тело змеилось среди кустов и елового подроста, а там, где нижние прутья оплетались, она проползала на брюхе, и ни одна ветка не качнулась над нею. Взяв с места, четырёхметровым прыжком она перенеслась через тракт, не оставив на нём следа, и торопливо взошла на холм.

В её памяти с верностью фотоснимка стояла картина, открывавшаяся с холма. Новыми были скушенная макушка молодой сосны и обглоданные прутья кустарника. Здесь побывали зайцы и лось, почки на берёзе склёваны птицами.

Значение имела другая мелочь, и ужас предчувствия прошёлся по волчьему хребту. Потому что всё, что заготовила судьба и чего не испытала ещё волчица-мать за свою недолгую благополучную жизнь, начиналось с густой еловой ветки, надломленной на уровне человеческого роста…

3

В эти дни оба посёлка — лесничество и лесопункт — жили как в лихорадке: разрешена весенняя охота, над рекой пошла утка, ожили токовища. Мужчины уходили в ночь, возвращались на рассвете, ребятишки вскакивали по утрам, спеша разглядеть отцовскую добычу.

Даша Лукманова была здесь единственной женщиной-охотником. С ружьём на плече, в литых резиновых сапогах и в стёганке, перепоясанной ремнём, на котором висел нож, она и крепкой, с прямыми плечами фигурой, и мерной походкой напоминала скорее парня, чем девушку.

У Даши был свой обычай. Без людей она чувствовала себя в лесу свободнее, поэтому предпочитала охотиться в одиночку.

В сенях Даша взяла весло, на ходу потрепала загремевшего цепью Карата. Хватаясь за кусты, скользя по откосу, сбежала к берегу, перевернула и столкнула на воду громоздкую плоскодонку, вытащила из мокрого песка якорь.

Ледоход был послабее вчерашнего. Покачиваясь, проносились льдины, рыхлые поверху, грузно осевшие зелёными стеклянными боками в мутную воду.

Стоя в лодке, Даша повела её вверх по течению тихой прибрежной водой. Возле подмытой ели круто развернула лодку и рывком двинулась наперерез.

Во всю ширь реки, поигрывая прихваченным бревном, кувыркая пни, мчалось поредевшее, но и теперь грозное ледовое стадо. Течение подхватило, но Даша, прочно расставив ноги, загребала веслом то широко и сильно, то мелко, быстро, и лодка шла наискось точно к ферме, откуда начинался старый тракт.

До глухариного тока всего около восьми километров, но Даша собралась пораньше. Вчера случилась беда. На ферме, где она работала, занимались одомашниванием лосей, и лучшей считалась дойная лосиха Пятница. От Пятницы ждали потомства, а она вчера ночью выломалась из загона и ушла в тайгу. Её искали, прочёсывали лес, но пока не нашли. Снег только начал таять, лосёнок мог погибнуть от холода. И его могли задавить волки.

Прошлым летом эта самая Пятница — Даша звала её Пятёха — вернулась с вольного выпаса в жалком виде: шея сверху располосована чуть не до позвонков, уши оторваны. Когда лосихе зашивали раны, все винили только волков. Никто не задумался над тем, как отбивалась от зверя обезумевшая лосиха, что она вытворяла и какие — далеко не волчьи — нужны когти и

цепкость, чтобы удержаться в это время на её спине. Да и чего думать? На лосят чаще нападали медведи, но именно волки задрали осенью Умницу, дочь Пятёхи, на которую Даша возлагала столько надежд.

…Весенние воды заливали тайгу. С высоких берегов они рушились водопадами в реку, а в глубине леса стояли бескрайними прозрачными озёрами.

Даша раскачала высокую сушину, и мёртвый ствол рухнул, подняв брызги. Даша пробежала по стволу, перепрыгнула на кочку, подтянула ствол и боком прошла по нему дальше. Здесь кочкарник потвёрже, на пухлых мохнатых подушках лежит оттаявшая клюква.

Даша набрала пригоршню, опрокинула в рот. Сколько ни петляла, в какие укромные места ни заглядывала — нет Пятёхи. Уцелеет она, сумеет ли сохранить телёнка? Рослая, сильная, непугливая — даже и после волчьей проделки пугливой не стала, — Пятёха во время дойки стоит смирно, словно помочь хочет, молока даёт много, за Дашей по тайге бежит, как собака. Идеальный одомашненный лось! Если принесёт тёлочку, та может материнские черты унаследовать.

Перескакивая через ручьи, увязая в глине и валежнике, Даша по своим собственным старым затёскам вышла к току, прямо к лежащей поодаль от поляны объёмистой сосне. Из года в год сосна служила скамьёй, и до сих пор стоят воткнутые по другую сторону, нависающие ветки, а на земле чернеет след костра.

Даша положила ружьё, сбросила котомку. Достала брезент, перелезла через ствол. Набросила на ветки и закрепила брезент шпагатом. Отыскала припрятанный под валежником чайник.

Хоть и ненадолго, она не ленилась устроиться в тайге с удобствами.

4

Разгоралась нодья. Ветер бестолково швырял клубы дыма. Когда налетало под брезент, Даша жмурила слезящиеся глаза, прихлёбывала чай из жестяной раскалённой кружки и думала о том, что другой жизни ей не надо.

Она бывала в Москве. Выглянешь из окна — ни поляны, ни кедров, одни коробки. Её возмущали эти коробки, саженые жидкие деревца, теснота на улицах. Она сама выросла в маленьком зелёном городке, но как существует человек в таком огромном городе, понять не могла. Как он живёт на вечно ревущих, душных асфальтовых улицах, как способен выполнять домашние обязанности, сосредоточиться, работать. Для неё это было так же противоестественно, как если бы её заставили надеть акваланг, спуститься на морское дно и жить там.

И она радовалась, что такая вокруг тишина, падает запоздалый тёплый майский снег и от него посветлел, улыбнулся в темноте лес. А нодья потрескивала, тепло копилось под брезентовой крышей, Даша протянула к огню ноги в толстых шерстяных носках, и от них шёл пар…

Но потом она вернулась к своим заботам. Прошлый год летом кое-кто слыхал, как за Киршиным болотом выли волки. Скорее всего, там они квартировали. Никто не искал логова, решили сообщить в райцентр, вызвать специалистов — волчатников, но даже и сообщить не собрались. А месяца полтора назад нагло, на виду у рабочих лесопункта, перешёл по льду реку здоровенный хромой волк. Мужики кричали, свистели — волк и шагу не прибавил. Значит, верно пишут, что они охотника от невооружённого отличают.

В последнее время — не в охотничьей, конечно, литературе! — стали писать в защиту волков. Будто нельзя их уничтожать до последнего, они в природе нужны… Если сидеть в городе да из окна на улицу поглядывать, то можно сочинить теорию. Даша — зверовод. Хотела бы она на своё место того городского поставить. Пускай бы помучился ночами с лосёнком, да выпоил, да вынянчил, а потом твоего лося стали бы волки рвать…

Даша задумчиво смотрела в огонь. В прошлом году Пятёха отелилась впервые, и тоже все надеялись, что не бычок родится, а тёлка. Собрались поглядеть. В большом загоне обшарили каждый куст, буквально каждый лист подняли — лосёнка не было. Пятёха ходила за людьми с таким видом, будто и она ищет. Ушли ни с чем, думали, уж не собаки ли его загрызли. Погодя немного Даша

решила ещё поискать. Лосиха шагала не за Дашей, а впереди и привела к лосёнку. Цел и невредим, он лежал на чистом месте, он слился с землёй — не разглядишь. Это и была Умница.

Даша вспомнила, как вела её лосиха, оглядывалась через плечо, проверяя, идёт ли за ней Даша, и как, пригнув голову, смотрела, когда Даша опустилась на корточки возле телка. Показалось, что обе они, взрослые, склонились над новорождённым, и такая вдруг появилась близость, что хоть делись с лосихой впечатлениями…

Даша выглянула из-под навеса. Снег не перестаёт. А глухари не любят, когда им на голову сыплется. Пока сидела у костра, Даша слышала четыре подлёта; петухи явились, но песни от них не дождёшься. Щёлкнет который-нибудь вяло, без толку. Не будет охоты.

И она прикинула, сколько километров отсюда до Киршина болота. Два охотничьим путиком обратно до тракта, да трактом — девять.

Говорят, волки не любят менять место. Они и сейчас скорее всего там где-то норятся, возле болота. Болото почти достигает тракта; может, пользуются и трактом. Оставляют следы, особенно чёткие на свежем снегу.

Но тут же она отбросила эту мысль. Дикие хорониться умеют. Не могла Пятёха далеко уйти, и где она раньше телилась, где любила отдыхать, Даша знает, а вот не нашла же. Чего о волках помышлять!

Она твердила себе, что опытный волчатник сначала разведает да обдумает. Не с её знанием волчьих повадок пускаться на такие дела. За семь вёрст киселя хлебать, вот точно. За одиннадцать с лишним километров, по размокшей тайге!

Запрятывая под валежник котомку, чтоб налегке шагать, рассовывая по карманам хлеб и домашние пресные маковки, гася костёр, она ещё продолжала урезонивать себя…

Пока выбрела на тракт, начало светать. Не было никакой надежды на успех, зато распевали птицы, плескались ручьи, под сырым благодатным утренним ветром поплыл туман.

Два белых зайца играли на полянке и прямо на открытом месте затаились, прижались, и она миновала их, насмешливо покосившись. Глухарка сидела на голой берёзе, смотрела вниз, и громкое «ко-ко-ко» выражало удивление и беспокойство. Дорогу пересек лисий след. По крупным отпечаткам, по широкому и сбивчивому шагу можно предположить, что это лисовин и что он тащил какую-то тяжесть. Потом вдруг попался след волка.

Кое-где ночной снег начал таять, а на обочине лежал, и по этому снегу недавно прошёл волк. Метров через двадцать свернул

в чащу. Спустя полкилометра опять вышел — кажется, тот самый, с небольшой собранной лапой.

В одном месте зверь потоптался — похоже, он прислушивался, перед тем как сойти с дороги, — и Даша, вступая в лес, сняла с плеча ружьё.

Она внимательно оглядела сухую проталину под елью. Тут недавно отелилась лосиха — не Пятница, а дикая. Волк и новорождённый телёнок стояли рядом, их разделяли два шага. Лосиха кинулась на волка погодя: её раздвоенное копыто перекрывало лёгкие вмятины, оставленные телёнком. Хищник не успел напасть, хотя это странно — волки действуют молниеносно. Егерь в лесничестве рассказывал, как ехал на санях, его нагнали волки, и один из них только мелькнул, тенью скользнул перед конём, а уже шея у коня была взрезана…

Даша проследила за лосихой, которая благополучно повела телёнка. Так и не разобравшись, что тут произошло, потеряв волчий след, Даша вернулась на тракт. Она не тропила зверя — следы исчезли начисто, — а шла наугад. Если ничего больше не найдёт, придётся идти обратно к лосиной лёжке, а снег уже сходит, — где там чего искать!

Она закинула за спину ружьё. По левую руку лес прорежен: когда-то отваливала от тракта просёлочная дорога. Прежде были тут разбросаны деревни — из тех, утонувших в густом бору, про которые говорится, что над ними небо в ладошку.

Даша присела на пень. Здорово она вымоталась. Ещё и ночь без сна. Теперь бы передохнуть… И — пожевать.

Сняла ремень, распахнула стёганку. Перепоясалась по голубому свитеру. Одёжу хоть совсем скидывай — вся спина мокрая. И голова даже.

Стянула с головы берет, тряхнула кудрями. Хотела засунуть берет в карман, и тут донёсся до неё крик ворона. Крик больше не повторился, но Даша уловила, откуда он шёл, и быстро встала.

5

Перед ней открылась одичавшая, зарастающая березняком поляна. Сбоку, над оврагом, видно похилившееся строение. С древней ели над строением молча снялась пара воронов.

Волчье гнездо могло оказаться под любой кучей валежника, в старой барсучьей норе — где угодно, но у Даши стукнуло сердце, когда она увидела воронов и замшелую, готовую обвалиться крышу.

Ей пришло в голову, что надо спешить в посёлок, звать мужчин. Слышала она, что волки не обороняют от человека своё потомство, но, как говорится, хорошо бы, чтоб это знали и сами волки.

Даша начала отходить — шагов сто по просёлочной, сколько-то трактом. Зажав ладонью, бесшумно надломила ветку. Когда вернётся с мужиками, будет знак, что вот он, поворот… И тут она сообразила, что звери в эту минуту могут наблюдать за ней.

Середина мая, у волков наверняка приплод. Уйдёшь — перепрячут матёрые своих выродков. Они, говорят, перепрятывают. Да, может, нет здесь никакого логова?

Даша вернулась на то место, откуда видно строение. Стояла, вглядываясь. Ружьё держала наготове.

Не выпуская из виду бани, Даша сделала круг и остановилась со стороны входа. Даже издали можно разглядеть волчью узкую стёжку, ведущую к приотворенной, висевшей на одной петле двери, а на косяке темнело пятно, оставленное, быть может, пролезавшими в щель зверями.

Важнее всего взять матёрых. Их надо выпугнуть из логова, если только они сейчас там.

Она шагнула, намеренно хрустя валежником, но ничто не шелохнулось. Топчась на месте, повернулась медленно кругом. Они следили, Даша это знала. Знала откуда-то, была уверена; на горле, на кисти правой руки она ощутила жжение, словно кто-то словил увеличительным стеклом и направил на неё жгучий луч…

Взялась за дверь, приподняла и растворила пошире. Заскрипела петля, тёплый звериный дух ударил в лицо.

Снова Даша осмотрела заросли вокруг. Ни белка, ни птица не шевельнули ветку, только дятел стучал по мёртвой сушине.

Даша осторожно спустила курок. Быстро скинув ватник, через голову стянула свитер, завязала у свитера ворот.

Стукнувшись лбом о притолоку, влезла в темноту. И снова вылезла, так жутко ей было. Постояла…

Волчата обрадованно совались в руки. На ощупь они казались

обыкновенными щенками, и против воли Даша укладывала их в самодельный мешок бережно. Засунув троих, поискала ещё, но, видимо, больше не было. Она вышла, на свету заглянула в мешок.

«Куда мне их?» — подумала она. Многие охотники тут же палкой приканчивают волчат, уносят мёртвыми, но Даша так не могла. Она могла стрелять, и охотничью стрельбу не считала убийством. «Там видно будет», подумала она и, завязав мешок, взвалила его на спину.

Какое бы острое чувство, какое бы ликование ни охватывало Дашу, когда, треща ветвями, шлёпается после выстрела глухарь или кувыркается на бегу заяц, оно и в сравнение не шло с тем, что она испытывала сейчас. Найти волчье логово! Отнять потомство у волков! В одиночку, без напарника!

Уходила она, беспрестанно оглядываясь. Руки у неё дрожали. Если придётся стрелять, с трёх шагов промажешь. «Словно ворую», — подумалось ей.

Скоро она обнаружила, что её сшитый из лосиного камуса чехол для ножа висит на ремне пустой. Она стала соображать, взяла ли нож из дому, но тут же опомнилась. А чем же хлеб на току резала? Да и не случалось ещё, чтобы в тайгу отправилась без ножа. Там искать надо, где перепоясывалась.

Даша положила мешок с копошившимися в нём волчатами, глядя под ноги и часто озираясь, пошла обратно.

Когда она скрылась, небольшой тёмный волк выполз из-за валежника и застыл, сливаясь с землёй. Другой волк, широколобый, на сильных высоких ногах, стоял в мелком ельнике. Минуту звери не двигались. Лотом, всматриваясь, принюхиваясь, начали подкрадываться к мешку.

Волчица ухватилась за узел и поволокла было весь мешок, но старый волк зацепился крючковатым жёлтым клыком и не пускал. Взъерошенная, с панически поджатым к животу хвостом, волчица лязгнула зубами на волка, но он не отпустил. Она рванула на себя, и клык старого волка вспорол мешок словно ножом…

Когда Даша вернулась, то нашла лишь разорванную грязную тряпку. Она подобрала остатки свитера, разглядывая волчью работу. Скуластое лицо её побледнело. Подняв голову, она неведомо кому, в лес, погрозила кулаком.

Она твердила себе, что сегодня же напишет в райцентр, не успокоится, пока не добьётся приезда волчатников на облаву — по всем правилам, с флажками и загонщиками, чтобы взять всех, всю семью серых бандитов. И сама будет участвовать в этой облаве.

НАС ТРОЕ

Я их знала — и собаку и волчонка. Норд был очень хорош, да ведь все доги, на мой взгляд, хороши — и на него я не обращала внимания. Меня интересовал Султан, которого растили для арены. Волк, работающий посреди толпы людей, явление редкое. Для волка, даже не пуганного облавой, человеческие голоса со всех сторон, дыхание, шевеление — признаки облавы. Волчата набираются ума ещё когда сосут, они от матери-волчицы перенимают, кто им первый враг.

Люся, молодая дрессировщица из Уголка Дурова, давно хотела вырастить волчонка. Дрессировщики придирчиво подбирают себе зверей, но тут привезли одного-единственного волчонка, и раздумывать не пришлось. Да никто и не смог бы угадать, какой характер заложен в скулящем комке с младенчески-затуманенным взором. Обнадёживал возраст волчонка — ему было дней десять от роду — и то, что он мелок даже для такого возраста. Он не захватывал соску, и сначала его кормили из пипетки.

Люся с ним не расставалась ни ночью, ни днём. Из-за волчонка она ходила в куртке, перепоясанная, и он спал у неё под курткой, а в жаркие дни Люся носила его в рыночной сумке. Он ездил в троллейбусах и электричках и покачивался в сумке, плывя над тротуаром. Он привыкал к запахам асфальта и машинного масла, к запаху толпы и слушал, как шумят улицы.

Потом Султана стали водить на цепочке. Иного волка можно спутать с овчаркой. Но в Султане, во внешности его и особенно в том, как он, подрастая, начал жаться к стенам и заборам, было что-то такое определённо волчье, что прохожие останавливались, говоря:

— Волка ведут!

В квартире у Люси начались объяснения. Пока Султан был маленьким и с прогулки по коридору проводили красивого, добродушного Норда, соседи не протестовали. Но когда, забиваясь в углы, обидно дичась людей, через квартиру начал прокрадываться зверёныш, соседи не выдержали. И Люся, хотя мать её не отпускала, решила на время переселиться в другое место.

Рядом с Уголком Дурова сносили дом. В этом доме ещё держались целыми одна комната и тёмная каморка. Возможно, каморка шла когда-то за кухню, потому что в ней имелся кран.

Здесь Люся и поселилась.

В середине августа она с дрессированными животными

уехала на сутки в пионерский лагерь. На ночь с волчонком и собакой осталась я.

1

В десятом часу вечера я нащупала ключ под осевшей ступенькой крыльца и отперла дверь, за которой топотал обрадованный пёс. Он чуть не свалил меня в темноте, но мне удалось быстро соединить загнутые крючками концы провода, и комната осветилась. Волчонок сидел на цепи под окном, глядел исподлобья, а хвост его, хоть и с робостью, всё же приветливо елозил по полу.

Я села на тахту. Тахтой был поставленный прямо на пол разбитый матрас, застеленный мешковиной. На матрас брошено вигоневое линялое одеяло, подушки нет. Так Люся и спит, покинув свою мягкую белую постель.

Мне советовали всё от волчонка спрятать, даже туфли повесить на стену, когда лягу спать. Пока что на самый высокий гвоздь я вешаю рюкзак. Собака, опираясь передними лапами о стену, поднимается во весь свой гигантский рост, обнюхивает рюкзак — и я замечаю, что в комнате низкий потолок.

Иду посмотреть в окно. Пёс шагает рядом. Когда я выглядываю, он, прислонившись ко мне, выглядывает тоже. А волчонок пятится в угол, натянув до отказа цепь.

Вместе с Нордом смотрим на улицу. Первый этаж. Бурьян под самое окно. Наш свет достаёт до ограды, толсто окутанной плющом. По ту сторону раскинулась липа, к нам опущена широкая ветка. Тишина. Дремучий сон старого московского дворика, доживающего век…

Гремя цепью, ко мне бросается Султан. Он суетится, лижет руки, прыгает к лицу. Хочу его погладить — он шарахается. Кладу руку на голову Норда волчонок расширяет глаза, напрягается, будто ему скомандовали: «На старт, внимание!» Едва заговариваю с Нордом — Султан срывается с места. Он, должно быть, ревнует или проникается ко мне доверием из-за собаки. Но коротко его доверие. Я тянусь к нему — он весь сжимается и уползает в угол. Волчонок подрос — наверное, самый неподходящий для дрессировки из всего выводка…

Мне вспоминается Люся: «Что я буду делать, если он арены побоится? Что с ним будет тогда!»

2

Подсучив рукав, в полуведёрной кастрюле выбираю, как было велено, для волка лучшие куски, укладываю в кастрюльку поменьше. Кормлю каждого отдельно. Норд погрузился по уши, волчонок ухитряется из своей кастрюльки выглядывать. Смотрит, будто поверх очков.

Наконец Норд отошёл, повалился — он сыт. И волчонок сыт. Последнее повытаскивал на пол, то один кусок лизнёт, то другой. Принимается вяло жевать.

Я убираю посуду, спускаю Султана с цепи. Достаю из рюкзака термос, чашку, печенье. Располагаюсь на матрасе. Печенье, оказывается, любят все. Волчонок ловит печенье издали. Наливаю вторую чашку чая. Завинчиваю пустой термос. Пора спать.

Как я воображала себе эту ночь?

О собаке, о Норде, я не думала. Этот ляжет, где захочет. А волчонок будет со мной на тахте. Он пугливый, недоверчивый детёныш волка, но я сумею в темноте, в тиши комнаты, в ночном домашнем покое уверить его…

Опускаю на колени кружку. Волчонок носом пытается открыть собаке пасть. Так делают щенки, когда возвращается волк-отец, наглотавшись мяса, так они заставляют выкинуть им добычу. Но Султан ведь сыт! Неужели он способен съесть ещё?

Пёс вскакивает с рыканьем, поистине львиным. Волчонок, приседая, скуля, оставляя умильные лужицы, преследует Норда. Я угадываю — тут старые отношения. Норд взвывает от досады — видно, давно ему надоел назойливый волчий отпрыск.

Поскуливая, жалостно растянув губы, шажками, шажками, бочком Султан приближается с лисьей разглаженной, заискивающей физиономией. Огрызаясь, Норд увёртывается. Норд рычит, предостерегая. И не успевает отвернуться щенок стремительно вкладывает в рот Норду свой острый нос.

Норд выплёвывает волчью морду. Норд изнемогает. Стеная, грызёт ненавистную голову. Волчонок взвизгивает, а сам лезет и лезет в пасть.

Норд разъярён. Он давно мог бы убить щенка… Приглядываюсь. Норд не кусает, он быстро, мелко щиплет, будто машинкой остригает волчий лоб.

В который раз выплюнутый, волчонок исслюнявлен, встрёпан, жалок. Но у него железный характер. Он добивается своего — и я, кажется, начинаю его понимать.

3

Норд сдался. Он добровольно вобрал в рот голову Султана. Оба стоят, не двигаясь. Сбоку из собачьего рта выглядывает крупный волчий глаз.

У Султана тонкий, жиденький хвост. Придёт время, его хвост обратится в пышное диво, он будет колыхаться плавно, выражая чувства волка без суеты и с достоинством. Сейчас хвостик просительно дрожит: Норд отстранился. Хвост замирает: Норд гудит беззлобно и кладёт на Султана лапу. Султан поспешно валится, пёс берёт его за шею. Жалкая шея! Ей ещё предстоит стать могучей, чтобы выдержать тяжесть овцы, которую несёшь своим детям… Пока что сразу три таких шеи может перекусить дог.

Я замечаю, что Норд иначе обращается теперь с волчонком. Только что мне казалось, он способен задушить волчонка, — теперь не кажется. И волчонок уловил разницу. Раньше, стоило собаке бросить его, он стелился и подползал — сейчас Султан проворно встаёт на ноги и ждёт. И с этой минуты, как он, скосясь назад, на собаку, уверенно ждёт, зная, что дело сделано и Норд подбежит сам, с этой минуты Султан становится другим.

…Норд сунул свой нос Султану в заросшее ухо. Опять оба стоят. Грозя раздавить, пёс взвивается и падает, но только прижимает волчонка к полу. Лежат. Вскакивают. Щенок свободно пробегает под высокой аркой собачьего втянутого живота. Норд настигает его одним прыжком и сбивает с ног.

Я удивляюсь Норду. Он и в пылу борьбы помнит, кто его противник. Ни разу его страшные топочущие ноги не наступили на маленькое распростёртое тело.

Норд красив. Всё у него красиво. Высокие передние лапы, широкая грудь. Статные задние лапы и длинный хвост, сужающийся постепенно, как хлыст. И цвет. Знатоки не ценят белых догов, а Норд белый, лишь одно ухо тёмное. Он весь благородно бел. Вот она, собака. Это и есть собака. Она так и называется — «дог», собака. Не разноцветные терьеры и таксы, а белый дог изначальный, чистый кристалл собаки.

Норд — аристократ… Хотя физиономия его, пожалуй, простовата. У него розовый нос и губы. Он будто нахлебался клюквенного киселя с молоком и только что вылез из миски.

Он веселится с лёгкой душой. Волчонок играет исступлённо, со страстью. Норд поддевает волчонка под брюхо, бодается, зажмурясь — волчьи глаза постоянно начеку. Они следят — за мной. Как бы ни кувыркался щенок, они не исчезают, не тонут, они будто плавают поверху — сумрачные волчьи глаза.

Но Султан больше не ноет. Он молчит. Он скорее умрёт, чем признается, что спиной о дверной косяк приложиться — больно. Стук падающих тел и пыхтение стоят в комнате. У Султана тяжёлые кости: кажется, что швыряют табурет.

Султан измучен, избит. Султан доволен.

4

Я лежу поперёк тахты, плечами в стену. Боюсь пошевелиться. Мне удалось залезть в чужую шкуру. Замурзанную шкуру, но — волчью, и меня переполняет чувство достоинства. Оказывается, он крепко себя уважает, этот малыш. И он влюблён в Норда, как мальчик во взрослого силача мужчину.

Что мы понимаем в зверях? Для всего живого у нас одна мерка. Мы судим с ходу: щенок выклянчивает. Разве не понятно, что он унижается, что у него льстивая морда?

Ничего не понятно. Султан не унижался. Он принимал тот вид, какой не отпугнул, а увлёк бы, заманил собаку. Не «подступал бочком», а открыто подставлял свой бок, обезоруживал доверием могучего Норда. Он добивался, чтобы пёс забрал его морду в пасть — а ему не нужно мяса. Ему нужен волчий знак сердечного расположения. Знак любви и равенства — не по физической силе, по душе. Он требует, чтобы с ним считались, как считаются с волчонком в стае.

«…Я мал, но равен вам. Не смейте забывать — я здесь! Нас трое!»

Примерно это говорит сейчас в Султане — хотя говорит сбивчиво. Ему среди нас тяжко. Он постоянно нервничает. Он истерзан тревогой. Тревогой смутной: волчица не успела своему волчонку передать, кто — он и кто — мы. Но «я» пробудилось в нём, уверенное, независимое волчье «я», которое будут подавлять дрессировкой…

5

Глубокая ночь. Уложив в изголовье куртку, направляюсь к Султану. Он проскальзывает в каморку, оттуда наблюдает за мной. Опускаюсь на корточки, маню его. Уговариваю. Султан подползает. Беру его на руки. Он будет добрым волком: еле доношу его до тахты. Пытаюсь лечь, не выпуская, и чуть не падаю с ним — так он тяжёл. Скрежещут старые пружины, Султан панически вырывается из рук.

Тянусь к Норду, и Султан летит обратно. Он оттесняет собаку… Нас трое!

Втягиваю Султана за ошейник на матрас. Он упирается, вползает наполовину.

Вот она, голова волчонка. Изысканно заострённая у самого носа, его морда одутловата. Это — детская щекастость. У волка долгое детство, не скоро щекастая ряшка превратится в точёную морду взрослого зверя.

Вот его лоб. Поросший тёмным ёжиком невинный взгорок — ребячий лоб волка. Многомудрый волчий лоб!

И глаза. Ещё не определился их косой разрез. Султан в упор уставился на меня, и что-то знакомое чудится мне в его взгляде… Он напоминает слепого. У него, как у слепого, слушающие глаза.

Глажу морду и замечаю, что она подёргивается. Чешу Султана за ухом, глажу горло, дышу теплом ему в темя, приговариваю, говорю, говорю, кажется, камень услышал бы! Волчонок взвинчивается всё больше.

Замолкаю. Губы у него дрожат.

6

Возле тахты растянулся Норд, Султан — у дальней стены. Он дремлет. Уши его поворачиваются. По комнате кружит муха.

Муха угомонилась. Тишина. Волк поднимает голову.

Он изучает трещину на потолке — трещина недавняя. Над тахтой когда-то висел ковёр, — волчонок смотрит на гвозди. На крайний гвоздь, затем на второй в ряду, на каждый по очереди. Приковался к чему-то повыше: там воткнута кнопка. Ещё выше: мой рюкзак. На потолке муха. Гипсовая лепнина. Трещина. И одновременно — я, ежесекундно — я, опасливо, с подозрением, невыпускаемая, подслеженная — я, человек. По мне скользят безрадостные звериные очи.

Что между мной и этим волчонком встало?

Придушенная овца. Затравленный конь. Ручной лосёнок Умница, убитый волками в Печорской тайге под Сожвой. И — Дельфа. Наша красавица Дельфа, сеттер. Из Романовского лесничества, где охотился мой отец, её выманили волки (та самая поза, бочком, бочком, я тебе доверяю, давай познакомимся? И, словно бы испугавшись, прочь — догоняй меня?).

Между нами пара матёрых, застреленных зимой в окладе. И переярок — мне рассказывал о нём отец. Переярок, годовалый волчонок, что поскуливал тогда в кустах, просился, глупый, за флажки, в оклад к родителям.

Между нами — неумелый калечащий выстрел. И капкан. И разграбленное логовище, сваленные в мешок волчата…

Я не окликала Норда, а он стучит по полу хвостом. Ко мне стучится. Опускаю с матраса руку. Берусь за сильную собачью лапу.

Я не одна, нас трое. Но всем нам — волку, мне, собаке — не до сна.

НЕ БОЙСЯ, ЭТО Я!

Галчонка мне принёс сосед.

— Через неделю я еду в командировку, — с досадой толковала я старику, — и для чего вы его подобрали? Это же слёток, родители его бы кормили!

— А кошки-то, кошки! — возражал старик. — А дома-то у меня, сама понимаешь… Шурка!

Шуркой он называл внука, парня лет пятнадцати, которого весь наш девятиэтажный дом отлично знал. Во дворе он звался Сашка-Длинный и славился многими проделками — даже перечислять их не хочется. Был случай, когда он избил прохожего. Ещё было известно, что кошкам лучше не попадаться ему на глаза.

— Возьми галку-то, — упрашивал Шуркин дед, — ведь пропадёт. Ты погляди, до чего она ласковая, — жалостно говорил старик, а у него на плече сидела чёрная птица и нежно поклёвывала его седое волосатое ухо.

Выхода у меня не было. Застелили газетами комнату, дед притащил откуда-то чиненую-перечиненую клетку.

Первую ночь я беспокоилась, прислушивалась, жив ли галчонок в клетке, накрытой платком, но птенец сразу привык к новому своему положению. Он тихо спал ночами. Утром я окликала его. Он хрипло отвечал. Я открывала дверцу, он ступал на мою ладонь горячими от сна лапами. Встряхивался, почёсывался, поглядывал, приходя в себя. Перелетал на стол, где обычно лежал зажим для белья, которым на ночь скреплялись шторы.

Он поднимал зажим и швырял, двигал его, вставлял в дырочку свой большой клюв. И вдруг, обернувшись ко мне, с криком открывал рот, трепеща крыльями. Я поспешно заталкивала ему в горло творог или мясо. Он глотал, давясь, требовал ещё… День начинался.

Однажды я заметила, что он не пьёт, а окунает в поилку голову и встряхивается, брызгаясь. Я принесла и поставила на пол тарелку с водой. Галчонок заинтересованно зашагал вокруг тарелки, останавливаясь, поглядывая, не решаясь приблизиться. Наконец он потянулся к воде. Коснулся — вода всколыхнулась. Он стоял, вытянув шею, пошевеливая клювом воду, и дивился на зыбь.

Он ступил в тарелку одной своей ногой. Ступил двумя. Присел, забил крыльями, заплескался, и полетели брызги по всей комнате — на паркет, на мебель, на стены. А я не мешала ему,

только смотрела — такое удовольствие было смотреть.

Вылез он мокрой курицей. Перья слиплись, проглядывало розовое беззащитное тело. И долго занят был собой — ерошился, чистился, хлопал крыльями, просушивая их.

Он не любил, когда я уходила из комнаты, не выпускал меня. Я бросалась бегом, галчонок с криком и шумом догонял и садился мне на голову. Я подставляла руку — он переходил с головы на мой палец. Я подносила галчонка к лицу. Он внимательно рассматривал меня голубыми глазами, трогал, поклёвывал и быстрым движением клюва — будто ножницы раздвигались открывал мои губы или перебирал волосы.

Мне не хватало с ним только игры, я не знала, как играют с птицей. Да и умеет ли птица играть?

Как-то я устроилась в кресле — заниматься. Он прилетел и сел на верхний край тетради, съехал по странице и начал ловить

конец карандаша. Я дала ему поймать карандаш. Потянула — он не отпустил. Напрягаясь всем телом, он вырывал у меня карандаш, как щенок вырывает из рук палку.

Я прижала пальцем его ногу. Он тотчас отдёрнул её. Прижала другую — он проворно убрал и эту. И ждал, уставясь, что будет дальше.

Я легонько потрепала его за опущенный клюв. Он замотал головой, высвободился, схватил меня за палец — тоже легонько. Стоял, задорно расставив ноги, не закрывая рта, готовый продолжать.

Опять я его за клюв, он — за палец. Но скоро он устал или ему разонравилось — отскочил, вспрыгнул на моё плечо, а когда я потянулась за ним, проговорил мне в самое ухо, шёпотом:

— Хаф-хаф!

На щеке я почувствовала его горячее дыхание. Что он хотел сказать? Не знаю. Тогда я ещё плохо понимала его.

Приближался день моего отъезда. Правда, настоящая командировка, на целый месяц, предстояла только в августе, сейчас я уезжала на пять дней. Куда девать птенца?

Я листала записную книжку, звонила знакомым; один не мог взять галку, у другого телефон не отвечал. И я решилась оставить ключ соседу.

— Раз шесть на день приходить надо, кормить. Сможете?

— Чего поделаешь, — отвечал старик, — приду.

— Смотрите только, чтобы ваш Шурка…

— Да ты что! — сказал старик, округляя глаза. — Его какое дело!

И я уехала.

В Вологде, особенно вечерами в гостинице, я думала про галчонка и удивлялась своему легкомыслию. Да разве можно было оставлять ключ старику? По шесть раз на день отпирает он мою дверь и Сашка ничего не замечает? Не может этого быть!

Зимним вечером во дворе у нас ребята жгли однажды доски, и я подошла к костру. Был там и Сашка. И ещё стояли и смотрели на огонь люди, которые вышли гулять со своими собаками. Собаки возились тут же, и Сашка, поглядев на молодого весёлого пуделя, сказал непонятно:

— Живое мясо.

Я вспомнила, как он произнёс эти слова, остановив на собаке ленивый, медлительный взгляд, и больше старалась не гадать о том, что ждёт меня дома.

Приехала я домой днём. Отворила дверь… Галчонок был жив! Он сидел на книжной полке. Он не слетел ко мне, не подал голоса, как делал раньше, но он был жив.

Пока я раздевалась и разбирала вещи, он молча смотрел на меня сверху. Я влезла на стул и подняла к нему руку. Тяжело хлопая крыльями, с пронзительным криком, какого я у него ещё не слыхала, он перелетел на другой конец полки.

Я перетащила стул, опять влезла — и снова он шарахнулся. Он и по виду стал другим, я не узнавала его. Да и он ли это, тот ли галчонок?

Я стояла на стуле, издали показывая ему ладонь, а он смотрел и кричал своим новым, нестерпимо резким голосом, в котором я уловила отчаяние.

Очень медленно, чтобы не спугнуть, я потянулась к нему ещё раз. Он нагнулся. Я поднесла руку, и он вдруг сдавил мне палец с такой силой, что я чуть не вскрикнула.

Теперь я поняла, что в нём изменилось. Я оставила птицу с блестящими, плотно уложенными, крепкими перьями — сейчас они измочалены. Может быть, птицу ловили, гоняли, чьи-то руки мяли её перья… Крылья, хвост, серебристая шея, даже лоб — всё разлохмачено, растерзано.

Птенец больно кусался, но я не отнимала руки.

— Галя, — твердила я ему, — не бойся, это я! Галя!

Долго я стояла на стуле, ждала, уговаривала. Постепенно он успокоился и затих. Вот он наклонился. Молча потёрся о мою ладонь растрёпанной головой. Тут же с криком отпрянул. Но я уже не сомневалась, что он вспомнил, узнал.

Я распаковывала вещи и думала о том, что пройдёт время, перелиняют у него молодые изломанные перья, забудется страх. Я отворю окно. Он станет жить под крышей над моим окном, а зимой, в морозы, возвращаться домой…

notes

Примечания

1

Савояр (франц.) — житель Савойи, странствующий с учёным сурком и с шарманкой.